BOOKSTACKS CLASSICS

Вешние воды

Ivan Turgenev (1818-1883)

Русский EDITION

BOOKSTACKS EDITION

Publication record

Title	Вешние воды
Author	Ivan Turgenev (1818-1883)
Edition	Bookstacks TEI edition, based on the source HTML edition
Published	25 August 2026
Edition ID	turgenev-the-torrents-of-spring
Canonical URI	bookstacks.org

Rights and availability

The Bookstacks TEI encoding is available under CC BY-SA 4.0. The underlying Turgenev text is public domain; source-site selection and presentation are not reproduced. View the canonical license terms.

No ISBN has been assigned. The stable Bookstacks edition identifier and canonical URI above serve as the publication record for this digital edition. Bookstacks asserts no additional restriction over this generated PDF beyond the canonical source terms.

Оглавление

Пролог 1 1
I 4
Ii 6
Iii 9
Iv 12
V 14
Vi 16
Vii 19
Viii 22
Ix 24
X 26
Xi 29
Xii 31
Xiii 33
Xiv 35
Xv 37
Xvi 40
Xvii 45

Xviii **49**
Xix **52**
Xx **55**
Xxi **57**
Xxii **61**
Xxiii **67**
Xxiv **71**
Xxv **76**
Xxvi **80**
Xxvii **83**
Xxviii **87**
Xxix **91**
Xxx **94**
Xxxi **99**
Xxxii **104**
Xxxiii **107**
Xxxiv **110**
Xxxv **114**
Xxxvi **119**
Xxxvii **124**
Xxxviii **126**
Xxxix **130**
Xl **137**
Xli **140**
Xlii **143**
Xliii **148**
Xliv **151**

Пролог 1

Веселые годы,
Счастливые дни —
Как вешние воды
Промчались они!
Из старинного романса.

...Часу во втором ночи он вернулся в свой кабинет. Он выслал слугу, зажегшего свечки, и, бросившись в кресло около камина, закрыл лицо обеими руками.

Никогда еще он не чувствовал такой усталости — телесной и душевной. Целый вечер он провел с приятными дамами, с образованными мужчинами; некоторые из дам были красивы, почти все мужчины отличались умом и талантами — сам он беседовал весьма успешно и даже блистательно... и, со всем тем, никогда еще то «taedium vitae», о котором говорили уже римляне, то «отвращение к жизни» — с такой неотразимой силой не овладевало им, не душило его. Будь он несколько помоложе — он заплакал бы от тоски, от скуки, от раздражения: горечь едкая и жгучая, как горечь полыни, наполняла всю его душу. Что-то неотвязчиво-постылое, противно-тяжкое со всех сторон обступило его, как осенняя, темная ночь; и он не знал, как отделаться от этой темноты, от этой горечи. На сон нечего было рассчитывать: он знал, что он не заснет.

Он принялся размышлять... медленно, вяло и злобно.

Он размышлял о суете, ненужности, о пошлой фальши всего человеческого. Все возрасты постепенно проходили перед его мысленным взором (ему самому недавно минул 52-й год) — и ни один не находил пощады перед ним. Везде всё то же вечное переливание из пустого в порожнее, то же толчение воды, то же наполовину доб-

росовестное, наполовину сознательное самообольщение, — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, — а там вдруг, уж точно как снег на голову, нагрянет старость — и вместе с нею тот постоянно возрастающий, всё разъедающий и подтачивающий страх смерти... и бух в бездну! Хорошо еще, если так разыграется жизнь! А то, пожалуй, перед концом пойдут, как ржа по железу, немощи, страдания... Не бурными волнами покрытым, как описывают поэты, представлялось ему жизненное море — нет; он воображал себе это море невозмутимо гладким, неподвижным и прозрачным до самого темного дна; сам он сидит в маленькой, валкой лодке — а там, на этом темном, илистом дне, наподобие громадных рыб, едва виднеются безобразные чудища: все житейские недуги, болезни, горести, безумие, бедность, слепота... Он смотрит — и вот одно из чудищ выделяется из мрака, поднимается выше и выше, становится всё явственнее, всё отвратительно явственнее... Еще минута — и перевернется подпертая им лодка! Но вот оно опять как будто тускнеет, оно удаляется, опускается на дно — и лежит оно там, чуть-чуть шевеля плесам... Но день урочный придет — и перевернет оно лодку.

Он тряхнул головою, вскочил с кресла, раза два прошелся по комнате, присел к письменному столу и, выдвигая один ящик за другим, стал рыться в своих бумагах, в старых, большею частью женских, письмах. Он сам не знал, для чего он это делал, он ничего не искал — он просто хотел каким-нибудь внешним занятием отделаться от мыслей, его томивших. Развернув наудачу несколько писем (в одном из них оказался засохший цветок, перевязанный полинявшей ленточкой), — он только плечами пожал и, глянув на камин, отбросил их в сторону, вероятно, сбираясь сжечь весь этот ненужный хлам. Торопливо засовывая руки то в один, то в другой ящик, он вдруг широко раскрыл глаза и, медленно вытащив наружу небольшую осьмиугольную коробку старинного покроя, медленно приподнял ее крышку. В коробке, под двойным слоем пожелтевшей хлопчатой бумаги, находился маленький гранатовый крестик.

Несколько мгновений с недоумением рассматривал он этот крестик — и вдруг слабо вскрикнул... Не то сожаление, не то радость изобразили его черты. Подобное выражение являет лицо человека, когда ему приходится внезапно встретиться с другим человеком, которого он давно потерял из виду, которого нежно любил когда-то и который неожиданно возникает теперь перед его взором, всё тот же — и весь измененный годами.

Он встал и, возвратясь к камину, сел опять в кресло — и опять закрыл руками лицо... «Почему сегодня? именно сегодня?» — думалось ему, и вспомнил он многое, давно прошедшее...

Вот что вспомнил он...

Но нужно сперва сказать его имя, отчество и фамилию. Его звали Саниным, Дмитрием Павловичем.

Вот что он вспомнил:

I

Дело было летом 1840 года. Санину минул 22-й год, и он находился во Франкфурте, на возвратном пути из Италии, в Россию. Человек он был с небольшим состоянием, но независимый, почти бессемейный. У него, по смерти отдаленного родственника, оказалось несколько тысяч рублей — и он решился прожить их за границею, перед поступлением на службу, перед окончательным возложением на себя того казенного хомута, без которого обеспеченное существование стало для него немыслимым. Санин в точности исполнил свое намерение и так искусно распорядился, что в день прибытия во Франкфурт у него оказалось ровно столько денег, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Петербурга. В 1840 году железных дорог существовала самая малость; господа туристы разъезжали в дилижансах. Санин взял место в «бейвагене»[1]; но дилижанс отходил только в 11-м часу вечера. Времени оставалось много. К счастью, погода стояла прекрасная — и Санин, пообедав в знаменитой тогдашней гостинице «Белого лебедя», отправился бродить по городу. Зашел посмотреть Даннекерову Ариадну, которая ему понравилась мало, посетил дом Гёте, из сочинений которого он, впрочем, прочел одного «Вертера» — и то во французском переводе; погулял по берегу Майна, поскучал, как следует добропорядочному путешественнику; наконец, в шестом часу вечера, усталый, с запыленными ногами, очутился в одной из самых незначительных улиц Франкфурта. Эту улицу он долго потом забыть не мог. На одном из немногочисленных ее домов он увидел вывеску: «Итальянская кондитерская Джиованни Розелли» заявляла о себе прохожим. Санин зашел в нее, чтобы выпить ста-

[1] в добавочной (прицепной) повозке (нем. Beiwagen).

кан лимонаду; но в первой комнате, где, за скромным прилавком, на полках крашеного шкафа, напоминая аптеку, стояло несколько бутылок с золотыми ярлыками и столько же стеклянных банок с сухарями, шоколадными лепешками и леденцами, — в этой комнате не было ни души; только серый кот жмурился и мурлыкал, перебирая лапками, на высоком плетеном стуле возле окна, и, ярко рдея в косом луче вечернего солнца, большой клубок красной шерсти лежал на полу рядом с опрокинутой корзинкой из резного дерева. Смутный шум слышался в соседней комнате. Санин постоял и, дав колокольчику на дверях прозвенеть до конца, произнес, возвысив голос: «Никого здесь нет?» В то же мгновение дверь из соседней комнаты растворилась — и Санину поневоле пришлось изумиться.

Ii

В кондитерскую, с рассыпанными по обнаженным плечам темными кудрями, с протянутыми вперед обнаженными руками, порывисто вбежала девушка лет девятнадцати и, увидев Санина, тотчас бросилась к нему, схватила его за руку и повлекла за собою, приговаривая задыхавшимся голосом: «Скорей, скорей, сюда, спасите!» Не из нежелания повиноваться, а просто от избытка изумления Санин не тотчас последовал за девушкой — и как бы уперся на месте: он в жизни не видывал подобной красавицы. Она обернулась к нему и с таким отчаянием в голосе, во взгляде, в движении сжатой руки, судорожно поднесенной к бледной щеке, произнесла: «Да идите же, идите!» — что он тотчас ринулся за нею в раскрытую дверь.

В комнате, куда он вбежал вслед за девушкой, на старомодном диване из конского волоса лежал, весь белый — белый с желтоватыми отливами, как воск или как древний мрамор, — мальчик лет четырнадцати, поразительно похожий на девушку, очевидно ее брат. Глаза его были закрыты, тень от черных густых волос падала пятном на словно окаменелый лоб, на недвижные тонкие брови; из-под посиневших губ виднелись стиснутые зубы. Казалось, он не дышал; одна рука опустилась на пол, другую он закинул за голову. Мальчик был одет и застегнут; тесный галстух сжимал его шею.

Девушка с воплем бросилась к нему.

— Он умер, он умер! — вскричала она, — сейчас он тут сидел, говорил со мною — и вдруг упал и сделался недвижим... Боже мой! неужели нельзя помочь? И мамы нет! Панталеоне, Панталеоне, что же доктор? — прибавила она вдруг по-итальянски. — Ты ходил за доктором?

— Синьора, я не ходил, я послал Луизу, — раздался хриплый

голос за дверью, — и в комнату, ковыляя на кривых ножках, вошел маленький старичок в лиловом фраке с черными пуговицами, высоком белом галстухе, нанковых коротких панталонах и синих шерстяных чулках. Его крошечное личико совершенно исчезало под целой громадой седых, железного цвета волос. Со всех сторон круто вздымаясь кверху и падая обратно растрепанными косицами, они придавали фигуре старичка сходство с хохлатой курицей — сходство тем более поразительное, что под их темно-серой массой только и можно было разобрать, что заостренный нос да круглые желтые глаза.

— Луиза скорей сбегает, а я не могу бегать, — продолжал старичок по-итальянски, поочередно поднимая плоские, подагрические ноги, обутые в высокие башмаки с бантиками, — а я вот воды принес.

Своими сухими, корявыми пальцами он стискивал длинное горлышко бутылки.

— Но Эмиль пока умрет! — воскликнула девушка и протянула руки к Санину. — О мой господин, o mein Herr! Неужели вы не можете помочь?

— Надо ему кровь пустить — это удар, — заметил старичок, носивший имя Панталеоне.

Хотя Санин не имел ни малейшего понятия о медицине, однако одно он знал достоверно: с четырнадцатилетними мальчиками ударов не случается.

— Это обморок, а не удар, — проговорил он, обратясь к Панталеоне. — Есть у вас щетки?

Старичок приподнял свое личико.

— Что?

— Щетки, щетки, — повторил Санин по-немецки и по-французски. — Щетки, — прибавил он, показывая вид, что чистит себе платье.

Старичок, наконец, его понял.

— А, щетки! Spazzette! Как не быть щеток!

— Давайте их сюда; мы снимем с него сюртук — и станем растирать его.

— Хорошо... Benone! А воду на голову не надо вылить?

— Нет... после; ступайте теперь поскорей за щетками.

Панталеоне поставил бутылку на пол, выбежал вон и тотчас вернулся с двумя щетками, одной головной и одной платяной. Курчавый пудель сопровождал его и, усиленно вертя хвостом, с любопытством оглядывал старика, девушку и даже Санина — как бы

желая знать, что значила вся эта тревога?

Санин проворно снял сюртук с лежавшего мальчика, расстегнул ворот, засучил рукава его рубашки — и, вооружившись щеткой, начал изо всех сил тереть ему грудь и руки. Панталеоне так же усердно тер другой — головной щеткой — по его сапогам и панталонам. Девушка бросилась на колени возле дивана и, схватив обеими руками голову, не мигая ни одной векою, так и впилась в лицо своему брату.

Санин сам тер — а сам искоса посматривал на нее. Боже мой! какая же эта была красавица!

Iii

Нос у ней был несколько велик, но красивого, орлиного ладу, верхнюю губу чуть-чуть оттенял пушок; зато цвет лица, ровный и матовый, ни дать ни взять слоновая кость или молочный янтарь, волнистый лоск волос, как у Аллориевой Юдифи в Палаццо-Питти, — и особенно глаза, темно-серые, с черной каемкой вокруг зениц, великолепные, торжествующие глаза, — даже теперь, когда испуг и горе омрачали их блеск... Санину невольно вспомнился чудесный край, откуда он возвращался... Да он и в Италии не встречал ничего подобного! Девушка дышала редко и неровно; казалось, она всякий раз ждала, не начнет ли брат ее дышать?

Санин продолжал растирать его; но он глядел не на одну девушку. Оригинальная фигура Панталеоне также привлекла его внимание. Старик совсем ослабел и запыхался; при каждом ударе щеткой подпрыгивал и визгливо кряхтел, а огромные космы волос, смоченные потом, грузно раскачивались из стороны в сторону, словно корни крупного растения, подмытые водою.

— Снимите, по крайней мере, с него сапоги, — хотел было сказать ему Санин...

Пудель, вероятно возбужденный необычайностью всего происходившего, вдруг припал на передние лапы и принялся лаять.

— Tartaglia — canaglia![2] — зашипел на него старик...

Но в это мгновенье лицо девушки преобразилось. Ее брови приподнялись, глаза стали еще больше и засияли радостью.

Санин оглянулся... По лицу молодого человека выступила краска; веки шевельнулись... ноздри дрогнули. Он потянул воздух сквозь всё еще стиснутые зубы, вздохнул...

[2]Тарталья — каналья! (итал.).

— Эмиль! — крикнула девушка. — Эмилио мио!

Медленно раскрылись большие черные глаза. Они глядели еще тупо, но уже улыбались — слабо; та же слабая улыбка спустилась на бледные губы. Потом он двинул повислой рукою — и с размаху положил ее себе на грудь.

— Эмилио! — повторила девушка и приподнялась. Выражение ее лица было так сильно и ярко, что казалось, вот сейчас либо слезы у нее брызнут, либо вырвется хохот.

— Эмиль! Что такое? Эмиль! — послышалось за дверью — и в комнату проворными шагами вошла опрятно одетая дама с серебристо-седыми волосами и смуглым лицом. Мужчина пожилых лет выступал за нею следом; голова служанки мелькнула у него за плечами.

Девушка побежала к ним навстречу.

— Он спасен, мама, он жив! — воскликнула она, судорожно обнимая вошедшую даму.

— Да что такое? — повторила та. — Я возвращаюсь... и вдруг встречаю г-на доктора и Луизу...

Девушка принялась рассказывать, что случилось, а доктор подошел к больному, который всё более и более приходил в себя и всё продолжал улыбаться: он словно начинал стыдиться наделанной им тревоги.

— Вы, я вижу, его растирали щетками, — обратился доктор к Санину и Панталеоне, — и прекрасно сделали... Очень хорошая мысль... а вот мы теперь посмотрим, какие еще средства... — Он пощупал у молодого человека пульс. — Гм! Покажите-ка язык!

Дама заботливо наклонилась к нему. Он еще откровеннее улыбнулся, взвел на нее глаза — и покраснел...

Санину пришло на мысль, что он становится лишним; он вышел в кондитерскую. Но не успел он еще взяться за ручку уличной двери, как девушка опять появилась перед ним и остановила его.

— Вы уходите, — начала она, ласково заглядывая ему в лицо, — я вас не удерживаю, но вы должны непременно прийти к нам сегодня вечером, мы вам так обязаны — вы, может быть, спасли брата: мы хотим благодарить вас — мама хочет. Вы должны сказать нам, кто вы, вы должны порадоваться вместе с нами...

— Но я уезжаю сегодня в Берлин, — заикнулся было Санин.

— Вы еще успеете, — с живостью возразила девушка. — Придите к нам через час на чашку шоколада. Вы обещаетесь? А мне нужно опять к нему! Вы придете?

Что оставалось делать Санину?

— Приду, — отвечал он.

Красавица быстро пожала ему руку, выпорхнула вон — и он очутился на улице.

Iv

Когда Санин часа полтора спустя вернулся в кондитерскую Розелли, его там приняли, как родного. Эмилио сидел на том же самом диване, на котором его растирали; доктор прописал ему лекарство и рекомендовал «большую осторожность в испытании ощущений», так как субъект темперамента нервического и с наклонностью к болезням сердца. Он и прежде подвергался обморокам; но никогда припадок не был так продолжителен и силен. Впрочем, доктор объявил, что всякая опасность миновалась. Эмиль одет был, как приличествует выздоравливающему, в просторный шлафрок; мать намотала ему голубую шерстяную косынку вокруг шеи; но вид он имел веселый, почти праздничный; да и всё кругом имело праздничный вид. Перед диваном, на круглом столе, покрытом чистой скатертью, возвышался наполненный душистым шоколадом, окруженный чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами, — огромный фарфоровый кофейник; шесть тонких восковых свечей горело в двух старинных серебряных шандалах; с одной стороны дивана вольтеровское кресло раскрывало свои мягкие объятия — и Санина посадили именно в это кресло. Все обитатели кондитерской, с которыми ему пришлось познакомиться в тот день, находились налицо, не исключая пуделя Тарталья и кота; все казались несказанно счастливыми; пудель даже чихал от удовольствия; один кот по-прежнему всё жеманился и жмурился. Санина заставили объяснить, кто он родом, и откуда, и как его зовут; когда он сказал, что он русский, обе дамы немного удивились и даже ахнули — и тут же, в один голос, объявили, что он отлично выговаривает по-немецки; но что если ему удобнее выражаться по-французски, то он может употреблять и этот язык, так как они обе хорошо его понимают и выражаются на нем. Санин немедленно

воспользовался этим предложением. «Санин! Санин!» Дамы никак не ожидали, что русская фамилия может быть так легко произносима. Имя его: «Димитрий» — также весьма понравилось. Старшая дама заметила, что она в молодости слышала прекрасную оперу: «Demetrio e Polibio», но что «Dimitri» гораздо лучше, чем «Demetrio». Таким манером Санин беседовал около часу. С своей стороны дамы посвятили его во все подробности собственной жизни. Говорила больше мать, дама с седыми волосами. Санин узнал от нее, что имя ее Леонора Розелли; что она осталась вдовою после мужа своего, Джиованни Баттиста Розелли, который двадцать пять лет тому назад поселился во Франкфурте в качестве кондитера; что Джиованни Баттиста был родом из Виченцы, и очень хороший, хотя немного вспыльчивый и заносчивый человек, и к тому республиканец! При этих словах г-жа Розелли указала на его портрет, писанный масляными красками и висевший над диваном. Должно полагать, что живописец — «тоже республиканец!», как со вздохом заметила г-жа Розелли, не вполне умел уловлять сходство, ибо на портрете покойный Джиованни Баттиста являлся каким-то сумрачным и суровым бригантом — вроде Ринальдо Ринальдини! Сама г-жа Розелли была уроженка «старинного и прекрасного города Пармы, где находится такой чудный купол, расписанный бессмертным Корреджио!» Но от давнего пребывания в Германии она почти совсем онемечилась. Потом она прибавила, грустно покачав головою, что у ней только и осталось, что вот *эта* дочь да вот *этот* сын (она указала на них поочередно пальцем); что дочь зовут Джеммой, а сына — Эмилием; что оба они очень хорошие и послушные дети — особенно Эмилио... («Я не послушна?» — ввернула тут дочь; «Ох, ты тоже республиканка!» — ответила мать); что дела, конечно, идут теперь хуже, чем при муже, который по кондитерской части был великий мастер... («Un granduomo!» — с суровым видом подхватил Панталеоне); но что все-таки, слава богу, жить еще можно!

V

Джемма слушала мать — и то посмеивалась, то вздыхала, то гладила ее по плечу, то грозила ей пальцем, то посматривала на Санина; наконец она встала, обняла и поцеловала мать в шею — в «душку», отчего та много смеялась и даже пищала. Панталеоне был также представлен Санину. Оказалось, что Он был когда-то оперным певцом, для баритонных партий, но уже давно прекратил свои театральные занятия и состоял в семействе Розелли чем-то средним между другом дома и слугою. Несмотря на весьма долговременное пребывание в Германии, он немецкому языку выучился плохо и только умел браниться на нем, немилосердно коверкая даже и бранные слова. «Феррофлукто спиччебуббио!»[3] — обзывал он чуть не каждого немца. Итальянский же язык выговаривал в совершенстве, ибо был родом из Синигальи, где слышится «lingua toscana in bocca romana!»[4]. Эмилио видимо нежился и предавался приятным ощущениям человека, который только что избегнул опасности или выздоравливает; да и кроме того по всему можно было заметить, что домашние его баловали. Он застенчиво поблагодарил Санина, а впрочем, больше налегал на сироп и на конфекты. Санин принужден был выпить две большие чашки превосходного шоколада и съесть замечательное количество бисквитов: он только что проглотит один, а Джемма уже подносит ему другой — и отказаться нет возможности! Он скоро почувствовал себя как дома: время летело с невероятной быстротой. Ему пришлось много рассказывать — о России вообще, о русском климате, о русском обществе, о русском мужике и особенно о казаках; о войне двенадцатого года, о

[3] «Проклятый плут!» (нем.: verfluchte Spitzbube).

[4] «тосканский язык в римских устах!» (итал.).

Петре Великом, о Кремле, и о русских песнях, и о колоколах. Обе дамы имели весьма слабое понятие о нашей пространной и отдаленной родине; г-жа Розелли, или, как ее чаще звали, фрау Леноре, даже повергла Санина в изумление вопросом: существует ли еще знаменитый, построенный в прошлом столетии, ледяной дом в Петербурге, о котором она недавно прочла такую любопытную статью в одной из книг ее покойного мужа: «Bellezze delle arti»?[5] — А в ответ на восклицание Санина: «Неужели же вы полагаете, что в России никогда не бывает лета?!» — фрау Леноре возразила, что она до сих пор так себе представляла Россию: вечный снег, все ходят в шубах и все военные — но гостеприимство чрезвычайное и все крестьяне очень послушны! Санин постарался сообщить ей и ее дочери сведения более точные. Когда речь коснулась русской музыки, его тотчас попросили спеть какую-нибудь русскую арию и указали на стоявшее в комнате крошечное фортепиано, с черными клавишами вместо белых и белыми вместо черных. Он повиновался без дальних околичностей и, аккомпанируя себе двумя пальцами правой и тремя (большим, средним и мизинцем) левой, — спел тоненьким носовым тенорком сперва «Сарафан», потом «По улице мостовой». Дамы похвалили его голос и музыку, но более восхищались мягкостью и звучностью русского языка и потребовали перевода текста. Санин исполнил их желание, но так как слова «Сарафана» и особенно «По улице мостовой» (sur une rue pavée une jeune fille allait à leau[6] — он так передал смысл оригинала) — не могли внушить его слушательницам высокое понятие о русской поэзии, то он сперва продекламировал, потом перевел, потом спел пушкинское: «Я помню чудное мгновенье», положенное на музыку Глинкой, минорные куплеты которого он слегка переврал. Тут дамы пришли в восторг — фрау Леноре даже открыла в русском языке удивительное сходство с итальянским. «Мгновенье» — «o, vieni»[7], «со мной» — «siam noi»[8] и т. и. Даже имена: Пушкин (она выговаривала: Пуссекин) и Глинка звучали ей чем-то родным. Санин в свою очередь попросил дам что-нибудь спеть: они также не стали чиниться. Фрау Леноре села за фортепиано и вместе с Джеммой спела несколько дуэттино и «сторнелло». У матери был когда-то хороший контральт; голос дочери был несколько слаб, но приятен.

[5] «Красоты искусства» (итал.).

[6] по замощенной улице, молодая девушка шла за водой (франц.).

[7] «о, приди» (итал.).

[8] «это мы» (итал.).

Vi

Но не голосом Джеммы — ею самою любовался Санин. Он сидел несколько позади и сбоку и думал про себя, что никакая пальма — даже в стихах Бенедиктова, тогдашнего модного поэта, — не в состоянии соперничать с изящной стройностью ее стана. Когда же она, на чувствительных нотках, возводила кверху глаза — ему казалось, что нет такого неба, которое не разверзлось бы перед таким взором. Даже старик Панталеоне, который, прислонясь плечом к притолке двери и уткнув подбородок и рот в просторный галстух, слушал важно, с видом знатока, — даже тот любовался лицом прекрасной девушки и дивился ему — а, кажется, должен был он к нему привыкнуть! Окончив свои дуэттино с дочерью, фрау Леноре заметила, что у Эмилио голос отличный, настоящее серебро, но что он теперь вступил в тот возраст, когда голос меняется (он действительно говорил каким-то беспрестанно ломавшимся басом), и что по этой причине ему запрещено петь; а что вот Панталеоне мог бы, в честь гостя, тряхнуть стариной! Панталеоне тотчас принял недовольный вид, нахмурился, взъерошил волосы и объявил, что он уже давно всё это бросил, хотя действительно мог в молодости постоять за себя, — да и вообще принадлежал к той великой эпохе, когда существовали настоящие, классические певцы — не чета теперешним пискунам! — и настоящая школа пения; что ему, Панталеоне Чиппатола из Варезе, поднесли однажды в Модене лавровый венок и даже по этому случаю выпустили в театре несколько белых голубей; что, между прочим, один русский князь Тарбусский — «il principe Tarbusski», — с которым он был в самых дружеских отношениях, постоянно за ужином звал его в Россию, обещал ему горы золота, горы!.. но что он не хотел расстаться с Италией, с страною Данта — il paese del Dante! — Потом, конечно, произошли...

несчастные обстоятельства, он сам был неосторожен... Тут старик перервал самого себя, вздохнул глубоко раза два, потупился — и снова заговорил о классической эпохе пения, о знаменитом теноре Гарсиа, к которому питал благоговейное, безграничное уважение.

«Вот был человек! — воскликнул он. — Никогда великий Гарсиа — „il gran Garcia“ — не унижался до того, чтобы петь, как теперешние теноришки — tenor acci — фальцетом: всё грудью, грудью, voce di petto, si![9]» Старик крепко постучал маленьким засохшим кулачком по собственному жабо! «И какой актер! Вулкан, signori miei[10], вулкан, un Vesuvio! Я имел честь и счастье петь вместе с ним в опере dellillustrissimo maestro[11] Россини — в „Отелло“! Гарсиа был Отелло — я был Яго — и когда он произносил эту фразу...»

Тут Панталеоне стал в позитуру и запел дрожавшим и сиплым, но всё еще патетическим голосом:

Li...ra da ver...so da ver...so il fato
Io più no... no... no... non temerò![12]

— «Театр трепетал, signori miei! но и я не отставал; и я тоже за ним:

Li...ra da ver...so da ver...so il fato
Temer più non dovrò![13]

— «И вдруг он — как молния, как тигр:

Morrò!.. ma vendicato...[14]

— «Или вот еще, когда он пел... когда он пел эту знаменитую арию из „Matrimonio segreto“: Pria che spunti...[15] Тут он, il gran Garcia, после слов: I cavalli di galoppo[16] — делал на словах: Senza posa cassera[17] — послушайте, как это изумительно, comè stupendo! Тут он делал...» — Старик начал было какую-то необыкновенную фиоритуру — и на десятой ноте запнулся, закашлялся и, махнув рукою, отвернулся и пробормотал: «Зачем вы меня мучите?» Джемма тотчас же вскочила со стула и, громко хлопая в ладоши, с криком: «Браво!.. браво!» — подбежала к бедному отставному Яго и обеими руками ласково потрепала его по плечам. Один Эмиль безжалост-

[9] грудным голосом, да! (итал.).
[10] господа мои (итал.).
[11] знаменитейшего маэстро (итал.).
[12] Гнева... судьбы.../Я больше не буду бояться! (итал.).
[13] Гнева... судьбы.../Бояться я больше не должен! (итал.).
[14] Умру!.. но отомщенный... (итал.).
[15] «Тайного брака»: Прежде чем взойдет... (итал.).
[16] Лошадей галопом (итал.).
[17] Без передышки будет гнать (итал.).

но смеялся. Cet âge est sans pitié — этот возраст не знает жалости, — сказал уже Лафонтен.

Санин попытался утешить престарелого певца и заговорил с ним на итальянском языке (он слегка его нахватался во время своего последнего путешествия) — заговорил о «paese del Dante, dove il sì suona»[18]. Эта фраза вместе с «Lasciate ogni speranza»[19] составляла весь поэтический итальянский багаж молодого туриста; но Панталеоне не поддался на его заискивания. Глубже чем когда-либо уткнув подбородок в галстух и угрюмо пуча глаза, он снова уподобился птице, да еще сердитой, — ворону, что ли, или коршуну. Тогда Эмиль, мгновенно и легко краснея, как это обыкновенно случается с балованными детьми, — обратился к сестре и сказал ей, что если она желает занять гостя, то ничего она не может придумать. лучшего, как прочесть ему одну из комедиек Мальца, которые она так хорошо читает. Джемма засмеялась, ударила брата по руке, воскликнула, что он «всегда такое придумает!» Однако тотчас пошла в свою комнату и, вернувшись оттуда с небольшой книжкой в руке, уселась за столом перед лампой, оглянулась, подняла палец — «молчать, дескать!» — чисто итальянский жест — и принялась читать.

[18] «стране Данте, где звучит sì» (итал.).

[19] «Оставьте всякую надежду» (итал.).

Vii

Мальц был франкфуртский литератор 30-х годов, который в своих коротеньких и легко набросанных комедийках, писанных на местном наречии, выводил — с забавным и бойким, хотя и не глубоким юмором, — местные, франкфуртские типы. Оказалось, что Джемма читала точно превосходно — совсем по-актерски. Она оттеняла каждое лицо и отлично выдерживала его характер, пуская в ход свою мимику, унаследованную ею вместе с итальянскою кровью; не щадя ни своего нежного голоса, ни своего прекрасного лица, она — когда нужно было представить либо выжившую из ума старуху, либо глупого бургомистра, — корчила самые уморительные гримасы, ежила глаза, морщила нос, картавила, пищала... Сама во время чтения она не смеялась; но когда слушатели (за исключением, правда, Панталеоне: он тотчас с негодованием удалился, как только зашла речь о quel ferroflucto Tedesco[20]), когда слушатели прерывали ее взрывом дружного хохота, — она, опустив книгу на колени, звонко хохотала сама, закинув голову назад, и черные ее кудри прыгали мягкими кольцами по шее и по сотрясенным плечам. Хохот прекращался — она тотчас поднимала книгу и, снова придав чертам своим надлежащий склад, серьезно принималась за чтение. Санин не мог довольно надивиться ей; его особенно поражало то, каким чудом такое идеально-прекрасное лицо принимало вдруг такое комическое, иногда почти тривиальное выражение? Менее удовлетворительно читала Джемма роли молодых девиц — так называемых «jeunes premières»[21]; особенно любовные сцены не удавались ей; она сама это чувствовала и потому придавала им

[20] каком-то проклятом немце (итал. и нем.).

[21] «героинь» (франц.).

легкий оттенок насмешливости, словно она не верила всем этим восторженным клятвам и возвышенным речам, от которых, впрочем, сам автор воздерживался — по мере возможности.

Санин не заметил, как пролетел вечер, и только тогда вспомнил о предстоявшем путешествии, когда часы пробили десять часов. Он вскочил со стула, как ужаленный.

— Что с вами? — спросила фрау Леноре.

— Да я должен был сегодня уехать в Берлин — и уже место взял в дилижансе!

— А когда отходит дилижанс?

— В половине одиннадцатого!

— Ну, так вы уже не успеете, — заметила Джемма, — оставайтесь... я еще почитаю.

— Вы все деньги заплатили или только задаток дали? — полюбопытствовала фрау Леноре.

— Все! — с печальной ужимкой возопил Санин.

Джемма посмотрела на него, прищурив глаза, — и рассмеялась, а мать ее побранила.

— Молодой человек попусту деньги затратил, а ты смеешься!

— Ничего, — отвечала Джемма, — это его не разорит, а мы постараемся его утешить. Хотите лимонаду?

Санин выпил стакан лимонада, Джемма снова принялась за Мальца — и всё опять пошло как по маслу.

Часы пробили двенадцать. Санин стал прощаться.

— Вы теперь несколько дней должны остаться во Франкфурте, — сказала ему Джемма, — куда вам спешить? Веселей в другом городе не будет. — Она помолчала. — Право, не будет, — прибавила она и улыбнулась. Санин ничего не отвечал и подумал, что в силу пустоты своего кошелька ему поневоле придется остаться во Франкфурте, пока не придет ответ от одного берлинского приятеля, к которому он собирался обратиться за деньгами.

— Оставайтесь, оставайтесь, — промолвила и фрау Леноре. — Мы познакомим вас с женихом Джеммы, г-м Карлом Клюбером. Он сегодня не мог прийти, потому что он очень занят у себя в магазине... Вы, наверное, видели на Цейле самый большой магазин сукон и шелковых материй? Ну, так он там главным. Но он очень будет рад вам отрекомендоваться.

Санина это известие — бог ведает почему — слегка огорошило. «Счастливчик этот жених!» — мелькнуло у него в уме. Он посмотрел на Джемму — и ему показалось, что он подметил насмешливое выражение в ее глазах. Он начал раскланиваться.

— До завтра? Не правда ли, до завтра? — спросила фрау Леноре.

— До завтра! — произнесла Джемма не вопросительным, а утвердительным тоном, как будто это иначе и быть не могло.

— До завтра! — отозвался Санин.

Эмиль, Панталеоне и пудель Тарталья проводили его до угла улицы. Панталеоне не утерпел, чтобы не выразить своего неудовольствия по поводу Джеммина чтения.

— Как ей не стыдно! Кривляется, пищит — una carricatura! Ей бы Меропу представлять или Клитемнестру — нечто великое, трагическое, а она передразнивает какую-то скверную немку! Этак и я могу... Мерц, керц, смерц, — прибавил он хриплым голосом, уткнув лицо вперед и растопыря пальцы. Тарталья залаял на него, а Эмиль расхохотался. Старик круто повернул назад.

Санин возвратился в гостиницу «Белого лебедя» (он оставил там свои вещи в общей зале) в довольно смутном настроении духа. Все эти немецко-французско-итальянские разговоры так и звенели у него в ушах.

— Невеста! — шептал он, уже лежа в постели в отведенном ему скромном номере. — Да и красавица же! Но к чему я остался?

Однако на следующий день он послал письмо к берлинскому приятелю.

Viii

Он не успел еще одеться, как кельнер доложил ему о приходе двух господ. Один из них оказался Эмилем; другой, видный и рослый молодой мужчина с благообразнейшим лицом, был герр Карл Клюбер, жених прекрасной Джеммы.

Должно полагать, что в то время в целом Франкфурте ни в одном магазине не существовало такого вежливого, приличного, важного, любезного главного комми, каковым являлся г-н Клюбер. Безукоризненность его туалета стояла на одной высоте с достоинством его осанки, с изящностью — немного, правда, чопорной и сдержанной, на английский лад (он провел два года в Англии), — но все-таки пленительной изящностью его манер! С первого взгляда становилось явно, что этот красивый, несколько строгий, отлично воспитанный и превосходно вымытый молодой человек привык повиноваться высшим и повелевать низшим и что за прилавком своего магазина он неизбежно должен был внушать уважение самим покупателям! В сверхъестественной его честности не могло быть ни малейшего сомнения: стоило только взглянуть на его тугo накрахмаленные воротнички! И голос у него оказался такой, какого следовало ожидать: густой и самоуверенно-сочный, но не слишком громкий, с некоторой даже ласковостью в тембре. Таким голосом особенно удобно отдавать приказания подчиненным комми: «Покажите, мол, ту штуку пунсового лионского бархата!» — или: «Подайте стул этой даме!»

Г-н Клюбер начал с того, что отрекомендовался, причем так благородно наклонил стан, так приятно сдвинул ноги и так учтиво тронул каблуком о каблук, что всякий непременно должен был почувствовать: «У этого человека и белье и душевные качества — первого сорта!» Отделка обнаженной правой руки (в левой, обле-

ченной в шведскую перчатку, он держал до зеркальности вылощенную шляпу, на дне которой лежала другая перчатка) — отделка этой правой руки, которую он скромно, но с твердостью протянул Санину, превосходила всякое вероятие: каждый ноготь был в своем роде совершенство! Потом он сообщил, на отборнейшем немецком языке, что желал заявить свое почтение и свою признательность г-ну иностранцу, который оказал такую важную услугу будущему его родственнику, брату его невесты; при этом он повел левой рукой, державшей шляпу, в направлении Эмиля, который словно застыдился и, отвернувшись к окну, положил палец в рот. Г-н Клюбер прибавил, что почтет себя счастливым, если с своей стороны будет в состоянии сделать что-нибудь приятное г-ну иностранцу. Санин отвечал, не без некоторого труда, тоже по-немецки, что он очень рад... что услуга его была маловажная... и попросил своих гостей присесть. Герр Клюбер поблагодарил — и, мгновенно раскинув фалды фрака, опустился на стул, — но опустился так легко и держался на нем так непрочно, что нельзя было не понять: «Человек этот сел из вежливости — и сейчас опять вспорхнет!» И действительно, он немедленно вспорхнул и, стыдливо переступив два раза ногами, словно танцуя, объявил, что, к сожалению, не может долее остаться, ибо спешит в свой магазин — дела прежде всего! — но так как завтра воскресенье, то он, с согласия фрау Леноре и фрейлейн Джеммы, устроил увеселительную прогулку в Соден, на которую честь имеет пригласить г-на иностранца, и питает надежду, что он не откажется украсить ее своим присутствием. Санин не отказался ее украсить — и герр Клюбер отрекомендовался вторично и ушел, приятно мелькая панталонами нежнейшего горохового цвета и столь же приятно поскрипывая подошвами наиновейших сапогов.

Ix

Эмиль, который продолжал стоять лицом к окну даже после приглашения Санина «присесть», сделал налево кругом, как только будущий его родственник вышел, и, ужимаясь по-ребячески и краснея, спросил Санина, может ли он еще немного у него остаться. «Мне сегодня гораздо лучше, — прибавил он, — но доктор запретил мне работать».

— Оставайтесь! Вы мне нисколько не мешаете, — воскликнул немедленно Санин, который, как всякий истый русский, рад был ухватиться за первый попавшийся предлог, лишь бы не быть самому поставлену в необходимость что-нибудь делать.

Эмиль поблагодарил его — и в самое короткое время совершенно освоился и с ним, и с его квартирой; рассматривал его вещи, расспрашивал чуть не о каждой из них: где он ее купил и какое ее достоинство? Помог ему выбриться, причем заметил, что он напрасно не отпускает себе усов; сообщил ему, наконец, множество подробностей о своей матери, о сестре, о Панталеоне, даже о пуделе Тарталье, обо всем их житье-бытье. Всякое подобие робости исчезло в Эмиле; он вдруг почувствовал чрезвычайное влечение к Санину — и вовсе не потому, что тот накануне спас его жизнь, а потому, что человек он был такой симпатический! Он не замедлил доверить Санину все свои тайны. С особенным жаром настаивал он на том, что мама его непременно хочет сделать из него купца — а он*знает,* знает наверное, что рожден художником, музыкантом, певцом; что театр — его настоящее призвание; что даже Панталеоне его поощряет, но что г-н Клюбер поддерживает маму, на которую имеет большое влияние; что самая мысль сделать из него торгаша принадлежит собственно г-ну Клюберу, по понятиям которого ничего в мире не может сравниться с званием купца! Прода-

вать сукно и бархат и надувать публику, брать с нее «Narren-, oder Russen-Preise» (дурацкие, или русские цены) — вот его идеал![22]

— Ну, что ж! теперь надо идти к нам! — воскликнул он, как только Санин окончил свой туалет и написал письмо в Берлин.

— Теперь еще рано, — заметил Санин.

— Это ничего не значит, — промолвил Эмиль, ласкаясь к нему. — Пойдемте! Мы завернем на почту, а оттуда к нам. Джемма вам так рада будет! Вы у нас позавтракаете... Вы можете сказать что-нибудь маме обо мне, о моей карьере...

— Ну, пойдемте, — сказал Санин, и они отправились.

[22] В прежние времена — да, пожалуй, и теперь это не перевелось — когда, начиная с мая месяца, множество русских появлялось во Франкфурте, во всех магазинах цены увеличивались и получали название: «Russen-, или — увы! — Narren-Preise».

X

Джемма ему действительно обрадовалась, и фрау Леноре его очень дружелюбно приветствовала: видно было, что он накануне произвел на обеих впечатление хорошее. Эмиль побежал распоряжаться насчет завтрака, предварительно шепнув Санину на ухо: «Не забудьте!»

— Не забуду, — отвечал Санин.

Фрау Леноре не совсем здоровилось: она страдала мигренью — и, полулежа в кресле, старалась не шевелиться. На Джемме была широкая желтая блуза, перехваченная черным кожаным поясом; она тоже казалась утомленной и слегка побледнела; темноватые круги оттеняли ее глаза, но блеск их не умалился от того, а бледность придавала что-то таинственное и милое классически строгим чертам ее лица. Санина в тот день особенно поразила изящная красота ее рук; когда она поправляла и поддерживала ими свои темные, лоснистые кудри — взор его не мог оторваться от ее пальцев, гибких и длинных и отделенных дружка от дружки, как у Рафаэлевой Форнарины.

На дворе было очень жарко; после завтрака Санин хотел было удалиться, но ему заметили, что в такой день лучше всего не двигаться с места, — и он согласился; он остался. В задней комнате, в которой он сидел с своими хозяйками, царствовала прохлада; окна выходили в небольшой садик, заросший акациями. Множество пчел, ос и шмелей дружно и жадно гудело в их густых ветках, осыпанных золотыми цветами; сквозь полузакрытые ставни и опущенные сторы проникал в комнату этот немолчный звук: он говорил о зное, разлитом во внешнем воздухе, — и тем слаще становилась прохлада закрытого и уютного жилья.

Санин разговаривал много, по-вчерашнему, но не о России и

не о русской жизни. Желая угодить своему молодому другу, которого тотчас после завтрака услали к г-ну Клюберу — практиковаться в бухгалтерии, — он навел речь на сравнительные выгоды и невыгоды художества и коммерции. Он не удивился тому, что фрау Леноре держала сторону коммерции, — он это ожидал; но и Джемма разделяла ее мнение.

— Коли ты художник и особенно певец, — утверждала она, энергически двигая рукою сверху вниз, — будь непременно на первом месте! Второе уже никуда не годится; а кто знает, можешь ли ты достигнуть первого места?

Панталеоне, который также участвовал в разговоре (ему, как давнишнему слуге и старому человеку, дозволялось даже сидеть на стуле в присутствии хозяев; итальянцы вообще не строги насчет этикета), — Панталеоне, разумеется, стоял горой за художество. Правду сказать, доводы его были довольно слабы: он больше всё толковал о том, что нужно прежде всего обладать dun certo estro dispirazione — неким порывом вдохновенья! Фрау Леноре заметила ему, что и он, конечно, обладал этим «estro», а между тем...

— Я имел врагов, — сумрачно заметил Панталеоне.

— Да почему же ты знаешь (итальянцы, как известно, легко «тыкаются»), что у Эмиля врагов не будет, если даже и откроется в нем это «estro»?

— Ну так делайте из него торгаша, — с досадой промолвил Панталеоне, — а ДжиованБаттиста так бы не поступил, хотя сам был кондитером!

— ДжиованБаттиста, муж мой, был человек благоразумный — и если он в молодости увлекался...

Но уже старик ничего слышать не хотел — и удалился, еще раз проговорив с укоризной:

— А! ДжиованБаттиста!..

Джемма воскликнула, что если б Эмиль чувствовал себя патриотом и желал посвятить все силы свои освобождению Италии, то, конечно, для такого высокого и священного дела можно пожертвовать обеспеченной будущностью — но не для театра! Тут фрау Леноре пришла в волнение и началу умолять свою дочь не сбивать с толку, по крайней мере, брата и удовольствоваться тем, что она сама такая отчаянная республиканка! Произнесши эти слова, фрау Леноре заохала и стала жаловаться на голову, которая у нее была «готова лопнуть». (Фрау Леноре, из уважения к гостю, говорила с дочерью по-французски.)

Джемма тотчас принялась ухаживать за нею, тихонько дула

ей на лоб, намочив его сперва одеколоном, тихонько целовала ее щеки, укладывала ей голову в подушки, запрещала ей говорить — и опять ее целовала. Потом, обратившись к Санину, она начала рассказывать ему полушутливым, полутронутым тоном, какая у ней отличная мать и какая она была красавица! «Что я говорю: была! она и теперь — прелесть. Посмотрите, посмотрите, какие у ней глаза!»

Джемма мгновенно достала из кармана белый платок, закрыла им лицо матери и, медленно опуская кайму сверху вниз, обнажила постепенно лоб, брови и глаза фрау Леноры; подождала и попросила открыть их. Та повиновалась, Джемма вскрикнула от восхищения (глаза у фрау Леноре были действительно очень красивы) — и, быстро скользнув платком по нижней, менее правильной части лица своей матери, снова бросилась ее целовать. Фрау Леноре смеялась, и слегка отворачивалась, и с притворным усилием отстраняла свою дочь. Та тоже притворялась, что борется с матерью, и ласкалась к ней — но не по-кошачьи, не на французский манер, а с той итальянской грацией, в которой всегда чувствуется присутствие силы.

Наконец фрау Леноре объявила, что устала... Тогда Джемма тотчас присоветовала ей заснуть немножко, тут же, на кресле, а мы с господином русским — «avec le monsieur russe» — будем так тихи, так тихи... как маленькие мыши — «comme des petites souris». Фрау Леноре улыбнулась ей в ответ, закрыла глаза и, повздыхав немного, задремала. Джемма проворно опустилась на скамейку возле нее и уже не шевельнулась более, только изредка подносила палец одной руки к губам — другою она поддерживала подушку за головою матери — и чуть-чуть шикала, искоса посматривая на Санина, когда тот позволял себе малейшее движение. Кончилось тем, что и он словно замер и сидел неподвижно, как очарованный, и всеми силами души своей любовался картиной, которую представляли ему и эта полутемная комната, где там и сям яркими точками рдели вставленные в зеленые старинные стаканы свежие, пышные розы, и эта заснувшая женщина с скромно подобранными руками и добрым усталым лицом, окаймленным снежной белизной подушки, и это молодое, чуткона стороженное и тоже доброе, умное, чистое и несказанно прекрасное существо с такими черными глубокими, залитыми тенью и все-таки светившимися глазами... Что это? Сон? Сказка? И каким образом *он* тут?

Xi

Колокольчик звякнул над наружной дверью. Молодой крестьянский парень в меховой шапке и красном жилете вошел с улицы в кондитерскую. С самого утра ни один покупатель не заглядывал в нее... «Вот так-то мы торгуем!» — заметила со вздохом во время завтрака фрау Леноре Санину. Она продолжала дремать; Джемма боялась принять руку от подушки и шепнула Санину: «Ступайте, поторгуйте вы за меня!» Санин тотчас же на цыпочках вышел в кондитерскую. Парню требовалось четверть фунта мятных лепешек.

— Сколько с него? — шёпотом спросил Санин через дверь у Джеммы.

— Шесть крейцеров! — таким же шёпотом отвечала она.

Санин отвесил четверть фунта, отыскал бумажку, сделал из нее рожок, завернул лепешки, просыпал их, завернул опять, опять просыпал, отдал их, наконец, получил деньги... Парень глядел на него с изумлением, переминая свою шапку на желудке, а в соседней комнате Джемма, зажав рот, помирала со смеху. Не успел этот покупатель удалиться, как явился другой, потом третий... «А видно, рука у меня легкая!» — подумал Санин. Второй потребовал стакан оршаду, третий — полфунта конфект. Санин удовлетворил их, с азартом стуча ложечками, передвигая блюдечки и лихо запуская пальцы в ящики и банки. При расчете оказалось, что оршад он продешевил, а за конфекты взял два крейцера лишних. Джемма не переставала смеяться втихомолку, да и сам Санин ощущал веселость необычайную, какое-то особенно счастливое настроение духа. Казалось, век стоял бы он так за прилавком да торговал бы конфектами и оршадом, между тем как то милое существо смотрит на него из-за двери дружелюбно-насмешливыми глазами, а летнее

солнце, пробиваясь сквозь мощную листву растущих перед окнами каштанов, наполняет всю комнату зеленоватым золотом полуденных лучей, полуденных теней, и сердце нежится сладкой истомой лени, беспечности и молодости — молодости первоначальной!

Четвертый посетитель потребовал чашку кофе: пришлось обратиться к Панталеоне (Эмиль всё еще не возвращался из магазина г-на Клюбера). Санин снова подсел к Джемме. Фрау Леноре продолжала дремать, к великому удовольствию ее дочери.

— У мамы во время сна мигрень проходит, — заметила она.

Санин заговорил — конечно, по-прежнему, шёпотом — о своей «торговле»; пресерьезно осведомлялся о цене разных «кондитерских» товаров; Джемма так же серьезно называла ему эти цены, и между тем оба внутренно и дружно смеялись, как бы сознавая, что разыгрывают презабавную комедию. Вдруг на улице шарманка заиграла арию из «Фрейшюца»: «Durch die Felder, durch die Auen...»[23] Плаксивые звуки заныли, дрожа и посвистывая, в неподвижном воздухе. Джемма вздрогнула... «Он разбудит маму!» Санин немедленно выскочил на улицу, сунул шарманщику несколько крейцеров в руку — и заставил его замолчать и удалиться. Когда он возвратился, Джемма поблагодарила его легким кивком головы и, задумчиво улыбнувшись, сама принялась чуть слышно напевать красивую веберовскую мелодию, которою Макс выражает все недоумения первой любви. Потом она спросила Санина, знает ли он «Фрейшюца», любит ли Вебера, и прибавила, что хотя она сама итальянка, но*такую* музыку любит больше всего. С Вебера разговор соскользнул на поэзию и романтизм, на Гофмана, которого тогда еще все читали...

А фрау Леноре всё дремала и даже похрапывала чуть-чуть, да лучи солнца, узкими полосками прорывавшиеся сквозь ставни, незаметно, но постоянно передвигались и путешествовали по полу, по мебелям, по платью Джеммы, по листьям и лепесткам цветов.

[23] «Через поля, через долины...» (нем.).

Xii

Оказалось, что Джемма не слишком жаловала Гофмана и даже находила его... скучным! Фантастически-туманный, северный элемент его рассказов был мало доступен ее южной, светлой натуре. «Это всё сказки, всё это для детей писано!» — уверяла она не без пренебрежения. Отсутствие поэзии в Гофмане тоже смутно чувствовалось ею. Но была одна у него повесть, заглавие которой она, впрочем, позабыла и которая ей очень нравилась; собственно говоря, ей нравилось только начало этой повести: конец она или не прочла, или тоже позабыла. Дело шло об одном молодом человеке, который где-то, чуть ли не в кондитерской, встречает девушку поразительной красоты, гречанку; ее сопровождает таинственный и странный, злой старик. Молодой человек с первого взгляда влюбляется в девушку; она смотрит на него так жалобно, словно умоляет его освободить ее... Он удаляется на мгновенье — и, возвратившись в кондитерскую, уж не находит ни девушки, ни старика; бросается ее отыскивать, беспрестанно натыкается на самые свежие их следы, гоняется за ними — и никоим образом, нигде, никогда не может их достигнуть. Красавица на веки веков исчезает для него — и не в силах он забыть ее умоляющий взгляд, и терзается он мыслью, что, быть может, всё счастье его жизни ускользнуло из его рук...

Гофман едва ли таким образом оканчивает свою повесть; но такою она сложилась, такою осталась в памяти Джеммы.

— Мне кажется, — промолвила она, — подобные свидания и подобные разлуки случаются на свете чаще, чем мы думаем.

Санин промолчал... и немного спустя заговорил... о г-не Клюбере. Он в первый раз упомянул о нем; он ни разу не вспомнил о нем до того мгновения.

Джемма промолчала в свою очередь и задумалась, слегка кусая ноготь указательного пальца и устремив глаза в сторону. Потом она похвалила своего жениха, упомянула об устроенной им на завтрашний день прогулке и, быстро глянув на Санина, замолчала опять.

Санин не знал, о чем завести речь.

Эмиль шумно вбежал и разбудил фрау Леноре... Санин обрадовался его появлению.

Фрау Леноре встала с кресла. Явился Панталеоне и объявил, что обед готов. Домашний друг, экс-певец и слуга исправлял также должность повара.

Xiii

Санин остался и после обеда. Его не отпускали всё под тем же предлогом ужасного зноя, а когда зной свалил, ему предложили отправиться в сад пить кофе в тени акаций. Санин согласился. Ему было очень хорошо. В однообразно тихом и плавном течении жизни таятся великие прелести — и он предавался им с наслаждением, не требуя ничего особенного от настоящего дня, но и не думая о завтрашнем, не вспоминая о вчерашнем. Чего стоила одна близость такой девушки, какова была Джемма! Он скоро расстанется с нею и, вероятно, навсегда; но пока один и тот же челнок, как в Уландовом романсе, несет их по жизненным укрощенным струям — радуйся, наслаждайся, путешественник! И всё казалось приятным и милым счастливому путешественнику. Фрау Леноре предложила ему сразиться с нею и с Панталеоне в «тресетте», выучила его этой несложной итальянской карточной игре — обыграла его на несколько крейцеров — и он был очень доволен; Панталеоне, по просьбе Эмиля, заставил пуделя Тарталью проделать все свои штуки — и Тарталья прыгал через палку, «говорил», то есть лаял, чихал, запирал дверь носом, притащил стоптанную туфлю своего хозяина и, наконец, с старым кивером на голове, представлял маршала Бернадотта, подвергающегося жестоким упрекам императора Наполеона за измену. Наполеона представлял, разумеется, Панталеоне — и представлял очень верно: скрестил руки на груди, нахлобучил трехуголку на глаза и говорил грубо и резко, на французском, но, боже! на *каком* французском языке! Тарталья сидел перед своим владыкой, весь скорчившись, поджавши хвост и смущенно моргая и щурясь под козырьком косо надвинутого кивера; от времени до времени, когда Наполеон возвышал голос, Бернадотт поднимался

на задние лапы. «Fuori, traditore!»[24] — закричал наконец Наполеон, позабыв в избытке раздражения, что ему следовало до конца выдержать свой французский характер, — и Бернадотт опрометью бросился под диван, но тотчас же выскочил оттуда с радостным лаем, как бы давая тем знать, что представление кончено. Все зрители много смеялись — и Санин больше всех.

У Джеммы был особенно милый, непрестанный, тихий смех с маленькими презабавными взвизгиваньями... Санина так и разбирало от этого смеха — расцеловал бы он ее за эти взвизгиванья!

Ночь наступила наконец. Надо ж было и честь знать! Простившись несколько раз со всеми, сказавши всем по нескольку раз: до завтра! (с Эмилем он даже облобызался), Санин отправился домой и понес с собою образ молодой девушки, то смеющейся, то задумчивой, то спокойной и даже равнодушной, — но постоянно привлекательной! Ее глаза, то широко раскрытые и светлые и радостные, как день, то полузастланные ресницами и глубокие и темные, как ночь, так и стояли перед его глазами, странно и сладко проникая все другие образы и представления.

О г-не Клюбере, о причинах, побудивших его остаться во Франкфурте, — словом, о всем том, что волновало его накануне, — он не подумал ни разу.

[24] «Вон, предатель» (итал.).

Xiv

Надо ж, однако, сказать несколько слов о самом Санине.

Во-первых, он был очень и очень недурен собою. Статный, стройный рост, приятные, немного расплывчатые черты, ласковые голубоватые глазки, золотистые волосы, белизна и румянец кожи — а главное: то простодушно-веселое, доверчивое, откровенное, на первых порах несколько глуповатое выражение, по которому в прежние времена тотчас можно было признать детей степенных дворянских семей, «отецких» сыновей, хороших баричей, родившихся и утучненных в наших привольных полустепных краях; походочка с запинкой, голос с пришепеткой, улыбка, как у ребенка, чуть только взглянешь на него... наконец, свежесть, здоровье — и мягкость, мягкость, мягкость, — вот вам весь Санин. А во-вторых, он и глуп не был и понабрался кое-чего. Свежим он остался, несмотря на заграничную поездку: тревожные чувства, обуревавшие лучшую часть тогдашней молодежи, были ему мало известны.

В последнее время в нашей литературе после тщетного искания «новых людей» начали выводить юношей, решившихся во что бы то ни стало быть свежими... свежими, как фленсбургские устрицы, привозимые в С.-Петербург... Санин не походил на них. Уж коли пошло дело на сравнения, он скорее напоминал молодую, кудрявую, недавно привитую яблоню в наших черноземных садах — или, еще лучше: выхоленного, гладкого, толстоногого, нежного трехлетка бывших «господских» конских заводов, которого только что начали подганивать на корде... Те, которые сталкивались с Саниным впоследствии, когда жизнь порядком его поломала и молодой, наигранный жирок давно с него соскочил, — видели в нем уже совсем иного человека.

На следующий день Санин лежал еще в постели, как уже Эмиль, в праздничном платье, с тросточкой в руке и сильно напомаженный, ворвался к нему в комнату и объявил, что герр Клюбер сейчас прибудет с каретой, что погода обещает быть удивительной, что у них уже всё готово, но что мама не поедет, потому что у нее опять разболелась голова. Он стал торопить Санина, уверяя его, что нельзя терять минуты... И действительно: г-н Клюбер застал Санина еще за туалетом. Постучался в дверь, вошел, поклонился, изогнул стан, выразил готовность ждать сколько угодно — и сел, изящно опираясь шляпой о колено. Благообразный комми расфрантился и раздушился напропалую: каждое движение его сопровождалось усиленным наплывом тончайшего аромата. Он прибыл в просторной открытой карете, так называемом ландо, запряженном двумя сильными и рослыми, хоть и некрасивыми, лошадьми. Четверть часа спустя Санин, Клюбер и Эмиль в этой самой карете торжественно подкатили к крыльцу кондитерской. Г-жа Розелли решительно отказалась участвовать в прогулке; Джемма хотела остаться с матерью, но та ее, как говорится, прогнала.

— Мне никого не нужно, — уверяла она, — я буду спать. Я бы и Панталеоне с вами отправила, да некому будет торговать.

— Можно взять Тарталью? — спросил Эмиль.

— Конечно, можно.

Тарталья немедленно, с радостными усилиями, вскарабкался на козлы и сел, облизываясь: видно, дело ему было привычное. Джемма надела большую соломенную шляпу с коричневыми лентами; шляпа эта спереди пригибалась книзу, заслоняя почти всё лицо от солнца. Черта тени останавливалась над самыми губами: они рдели девственно и нежно, как лепестки столиственной розы, и зубы блистали украдкой — тоже невинно, как у детей. Джемма села на заднем месте, рядом с Саниным; Клюбер и Эмиль сели напротив. Бледная фигура фрау Леноре показалась у окна, Джемма махнула ей платком — и лошади тронулись.

Xv

Соден — небольшой городок в получасовом расстоянии от Франкфурта. Он лежит в красивой местности, на отрогах Таунуса, и известен у нас в России своими водами, будто бы полезными для людей с слабой грудью. Франкфуртцы ездят туда больше для развлечения, так как Соден обладает прекрасным парком и разными «виртшафтами», где можно пить пиво и кофе в тени высоких лип и кленов. Дорога от Франкфурта до Содена идет по правому берегу Майна и вся обсажена фруктовыми деревьями. Пока карета тихонько катилась по отличному шоссе, Санин украдкой наблюдал за тем, как Джемма обращалась со своим женихом: он в первый раз видел их обоих вместе. *Она* держалась спокойно и просто — но несколько сдержаннее и серьезнее обыкновенного; *он* смотрел снисходительным наставником, разрешившим и самому себе и своим подчиненным скромное и вежливое удовольствие. Особенных ухаживаний за Джеммой, того, что французы называют «empressement»[25], Санин в нем не заметил. Видно было, что г-н Клюбер считал это дело поконченным, а потому и не имел причины хлопотать или волноваться. Но снисходительность не покидала его ни на один миг! Даже во время большой передобеденной прогулки по лесистым горам и долинам за Соденом; даже наслаждаясь красотами природы, он относился к ней, к этой самой природе, всё с тою же снисходительностью, сквозь которую изредка прорывалась обычная начальническая строгость. Так, например, он заметил про один ручей, что он слишком прямо протекает по ложбине, вместо того чтобы сделать несколько живописных изгибов; не одобрил также поведения одной птицы — зяблика, — которая не довольно разно-

[25] «предупредительностью» (франц).

образила свои колена! Джемма не скучала и даже, по-видимому, ощущала удовольствие; но прежней Джеммы Санин в ней не узнавал: не то, чтобы тень на нее набежала — никогда ее красота не была лучезарней, — но душа ее ушла в себя, внутрь. Распустив зонтик и не расстегнув перчаток, она гуляла степенно, не спеша — как гуляют образованные девицы, — и говорила мало. Эмиль тоже чувствовал стеснение, а Санин и подавно. Его, между прочим, несколько конфузило то обстоятельство, что разговор постоянно шел на немецком языке. Один Тарталья не унывал! С бешеным лаем мчался он за попадавшимися ему дроздами, перепрыгивал рытвины, пни, корчаги, бросался с размаху в воду и торопливо лакал ее, отряхался, взвизгивал и снова летел стрелою, закинув красный язык на самое плечо. Г-н Клюбер, с своей стороны, сделал всё, что полагал нужным для увеселения компании; попросил ее усесться в тени развесистого дуба — и, достав из бокового кармана небольшую книжечку, под заглавием: «Knallerbsen, oder Dh sollst und wirst lachen!» (Петарды, или Ты должен и будешь смеяться!), принялся читать разбирательные анекдоты, которыми эта книжечка была наполнена. Прочел их штук двенадцать; однако веселости возбудил мало: один Санин из приличия скалил зубы, да сам он, г-н Клюбер, после каждого анекдота, производил короткий, деловой — и все-таки снисходительный смех. К двенадцати часам вся компания вернулась в Соден, в лучший тамошний трактир.

Предстояло распорядиться об обеде.

Г-н Клюбер предложил было совершить этот обед в закрытой со всех сторон беседке — «im Gartensalon»; но тут Джемма вдруг взбунтовалась и объявила, что не будет иначе обедать, как на воздухе, в саду, за одним из маленьких столов, поставленных перед трактиром; что ей наскучило быть всё с одними и теми же лицами и что она хочет видеть другие. За некоторыми из столиков уже сидели группы новоприбывших гостей.

Пока г-н Клюбер, снисходительно покорившись «капризу своей невесты», ходил советоваться с оберкельнером, Джемма стояла неподвижно, опустив глаза и стиснув губы; она чувствовала, что Санин неотступно и как бы вопросительно глядел на нее, — это, казалось, ее сердило. Наконец г-н Клюбер вернулся, объявил, что через полчаса обед будет готов, и предложил до тех пор поиграть в кегли, прибавив, что это очень хорошо для аппетита, хе-хе-хе! В кегли он играл мастерски; бросая шар, принимал удивительно молодцеватые позы, щегольски играл мускулами, щегольски взмахивал и потрясал ногою. В своем роде он был атлет — и сложен

превосходно! И руки у него были такие белые и красивые, и утирал он их таким богатейшим, золотисто-пестрым, индийским фуляром!

Наступил момент обеда — и всё общество уселось за столик.

Xvi

Кому не известно, что́ такое немецкий обед? Водянистый суп с шишковатыми клецками и корицей, разварная говядина, сухая, как пробка, с приросшим белым жиром, ослизлым картофелем, пухлой свеклой и жеваным хреном, посинелый угорь с капорцами и уксусом, жареное с вареньем и неизбежная «Mehlspeise», нечто вроде пудинга, с кисловатой красной подливкой; зато вино и пиво хоть куда! Точно таким обедом попотчевал соденский трактирщик своих гостей. Впрочем, самый обед прошел благополучно. Особенного оживления, правда, не замечалось; оно не появилось даже тогда, когда г-н Клюбер провозгласил тост за то, «что мы любим!» (was wir lieben!). Уж очень всё было пристойно и прилично. После обеда подали кофе, жидкий, рыжеватый, прямо немецкий кофе. Г-н Клюбер, как истый кавалер, попросил у Джеммы позволения закурить сигару... Но тут вдруг случилось нечто непредвиденное и уж точно неприятное — и даже неприличное!

За одним из соседних столиков поместилось несколько офицеров майнцского гарнизона. По их взглядам и перешептываньям можно было легко догадаться, что красота Джеммы поразила их; один из них, вероятно, уже успевший побывать во Франкфурте, то и дело посматривал на нее, как на фигуру, ему хорошо знакомую: он, очевидно, знал, кто она такая. Он вдруг поднялся и со стаканом в руке — гг. офицеры сильно подпили, и вся скатерть перед ними была установлена бутылками — приблизился к тому столу, за которым сидела Джемма. Это был очень молодой белобрысый человек, с довольно приятными и даже симпатическими чертами лица; но выпитое им вино исказило их: его щеки подергивало, воспаленные глаза блуждали и приняли выражение дерзостное. Товарищи сначала пытались удержать его, но потом пустили: была не была —

что, мол, из этого выйдет?

Слегка покачиваясь на ногах, офицер остановился перед Джеммой и насильственно-крикливым голосом, в котором, мимо его воли, все-таки высказывалась борьба с самим собою, произнес: «Пью за здоровье прекраснейшей кофейницы в целом Франкфурте, в целом мире (он разом „хлопнул“ стакан) — и в возмездие беру этот цветок, сорванный ее божественными пальчиками!» Он взял со стола розу, лежавшую перед прибором Джеммы. Сначала она изумилась, испугалась и побледнела страшно... потом испуг в ней сменился негодованием, она вдруг покраснела вся, до самых волос — и ее глаза, прямо устремленные на оскорбителя, в одно и то же время потемнели и вспыхнули, наполнились мраком, загорелись огнем неудержимого гнева. Офицера, должно быть, смутил этот взгляд; он пробормотал что-то невнятное, поклонился и пошел назад к своим. Они встретили его смехом и легким рукоплесканьем.

Г-н Клюбер внезапно поднялся со стула и, вытянувшись во весь свой рост и надев шляпу, с достоинством, но не слишком громко, произнес: «Это неслыханно! Неслыханная дерзость!» (Unerhört! Unerhörte Frechheit!) — и тотчас же, строгим голосом подозвав к себе кельнера, потребовал немедленного расчета... мало того: приказал заложить карету, причем прибавил, что к ним порядочным людям ездить нельзя, ибо они подвергаются оскорблениям! При этих словах Джемма, которая продолжала сидеть на своем месте не шевелясь, — ее грудь резко и высоко поднималась — Джемма перевела глаза свои на г-на Клюбера... и так же пристально, таким же точно взором посмотрела на него, как и на офицера. Эмиль просто дрожал от бешенства.

— Встаньте, мейл фрейлейн, — промолвил всё с той же строгостью г-н Клюбер, — здесь вам неприлично оставаться. Мы расположимся там, в трактире!

Джемма поднялась молча; он подставил ей руку калачиком, она подала ему свою — и он направился к трактиру величественной походкой, которая, так же как и осанка его, становилась всё величественней и надменней, чем более он удалялся от места, где происходил обед. Бедный Эмиль поплелся вслед за ними.

Но пока г-н Клюбер рассчитывался с кельнером, которому он, в виде штрафа, не дал на водку ни одного крейцера, Санин быстрыми шагами подошел к столу, за которым сидели офицеры — и, обратившись к оскорбителю Джеммы (он в это мгновенье давал своим товарищам поочередно нюхать ее розу), — произнес отчетливо, по-французски:

— То, что вы сейчас сделали, милостивый государь, недостойно честного человека, недостойно мундира, который вы носите, — и я пришел вам сказать, что вы дурно воспитанный нахал!

Молодой человек вскочил на ноги, но другой офицер, постарше, остановил его движением руки, заставил сесть и, повернувшись к Санину, спросил его, тоже по-французски:

— Что, он родственник, брат иди жених той девицы?

— Я ей совсем чужой человек, — воскликнул Санин, — я русский, но я не могу равнодушно видеть такую дерзость; впрочем, вот моя карточка и мой адрес: г-н офицер может отыскать меня.

Сказав эти слова, Санин бросил на стол свою визитную карточку и в то же время проворно схватил Джеммину розу, которую один из сидевших за столом офицеров уронил к себе на тарелку. Молодой человек снова хотел было вскочить со стула, но товарищ снова остановил его, промолвив: «Дёнгоф, тише!» (Dönhof, sei still!). Потом сам приподнялся — и, приложась к козырьку рукою, не без некоторого оттенка почтительности в голосе и манерах, сказал Санину, что завтра утром один офицер их полка будет иметь честь явиться к нему на квартиру. Санин отвечал коротким поклоном и поспешно вернулся к своим приятелям.

Г-н Клюбер притворился, что вовсе не заметил ни отсутствия Санина, ни его объяснения с г-ми офицерами; он понукал кучера, запрягавшего лошадей, и сильно гневался на его медлительность. Джемма тоже ничего не сказала Санину, даже не взглянула на него: по сдвинутым ее бровям, по губам, побледневшим и сжатым, по самой ее неподвижности можно было понять, что у ней нехорошо на душе. Один Эмиль явно желал заговорить с Саниным, желал расспросить его: он видел, как Санин подошел к офицерам, видел, как он подал им что-то белое — клочок бумажки, записку, карточку... Сердце билось у бедного юноши, щеки пылали, он готов был броситься на шею к Санину, готов был заплакать или идти тотчас вместе с ним расколотить в пух и прах всех этих противных офицеров! Однако он удержался и удовольствовался тем, что внимательно следил за каждым движением своего благородного русского друга!

Кучер наконец заложил лошадей; всё общество село в карету. Эмиль, вслед за Тартальей, взобрался на козлы; ему там было привольнее, да и Клюбер, которого он видеть не мог равнодушно, не торчал перед ним.

Во всю дорогу герр Клюбер разглагольствовал... и разглагольствовал один; никто, никто не возражал ему, да никто и не соглашался с ним. Он особенно настаивал на том, как напрасно не послушались его, когда он предлагал обедать в закрытой беседке. Никаких неприятностей бы не произошло! Потом он высказал несколько резких и даже либеральных суждений насчет того, как правительство непростительно потакает офицерам, не наблюдает за их дисциплиной и не довольно уважает гражданский элемент общества (das bürgerliche Element in der Societät) — и как от этого со временем возрождаются неудовольствия, от которых уже недалеко до революции, чему печальным примером (тут он вздохнул сочувственно, но строго) — печальным примером служит Франция! Однако тут же присовокупил, что лично благоговеет перед властью и никогда... никогда!.. революционером не будет — но не может не выразить своего... неодобрения при виде такой распущенности! Потом прибавил еще несколько общих замечаний о нравственности и безнравственности, о приличии и чувстве достоинства!

В течение всех этих «разглагольствований» Джемма, которая уже во время дообеденной прогулки не совсем казалась довольной г-м Клюбером — оттого она и держалась в некотором отдалении от Санина и как бы смущалась его присутствием, — Джемма явно стала стыдиться своего жениха! Под конец поездки она положительно страдала и хотя по-прежнему не заговаривала с Саниным, но вдруг бросила на него умоляющий взор... С своей стороны он ощущал гораздо более жалости к ней, чем негодования против г-на Клюбера; он даже втайне, полусознательно радовался всему, что случилось в продолжение того дня, хотя и мог ожидать вызова на следующее утро.

Мучительная эта partie de plaisir[26] прекратилась наконец. Высаживая перед кондитерской Джемму из кареты, Санин, ни слова не говоря, положил ей в руку возвращенную им розу. Она вся вспыхнула, стиснула его руку и мгновенно спрятала розу. Он не хотел войти в дом, хотя вечер только что начинался. Она сама его не пригласила. Притом появившийся на крыльце Панталеоне объявил, что фрау Леноре почивает. Эмилио застенчиво простился с Саниным; он словно дичился его: уж очень он ему удивлялся. Клюбер отвез Санина на его квартиру и чопорно раскланялся с ним. Правильно устроенному немцу, при всей его самоуверенности, бы-

[26]увеселительная прогулка (франц.).

ло неловко. Да и всем было неловко.

Впрочем, в Санине это чувство — чувство неловкости — скоро рассеялось. Оно заменилось неопределенным, но приятным, даже восторженным настроением. Он расхаживал по комнате, ни о чем не хотел думать, посвистывал — и был очень доволен собою.

Xvii

«Буду ждать г-на офицера для объяснения до 10 часов утра, — размышлял он на следующее утро, совершая свой туалет, — а там пусть он меня отыскивает!» Но немецкие люди встают рано: девяти часов еще не пробило, как уже кельнер доложил Санину, что г-н подпоручик (der Herr Seconde Lieutenant) фон Рихтер желает его видеть. Санин проворно накинул сюртук и приказал «просить». Г-н Рихтер оказался, против ожидания Санина, весьма молодым человеком, почти мальчиком. Он старался придать важности выражению своего безбородого лица, но это ему не удавалось вовсе: он даже не мог скрыть свое смущение — и, садясь на стул, чуть не упал, зацепившись за саблю. Запинаясь и заикаясь, он объявил Санину на дурном французском языке, что приехал с поручением от своего приятеля, барона фон Дёнгофа; что поручение это состояло в истребовании от г-на фон Занин извинения в употребленных им накануне оскорбительных выражениях; и что в случае отказа со стороны г-на фон Занин — барон фон Дёнгоф желает сатисфакции. Санин отвечал, что извиняться он не намерен, а сатисфакцию дать готов. Тогда г-н фон Рихтер, всё так же запинаясь, спросил, с кем, в котором часу и в котором месте придется ему вести нужные переговоры. Санин отвечал, что он может прийти к нему часа через два и что до тех пор он, Санин, постарается сыскать секунданта. («Кого я, к чёрту, возьму в секунданты?» — думал он между тем про себя.) Г-н фон Рихтер встал и начал раскланиваться... но на пороге двери остановился, как бы почувствовав угрызение совести, — и, повернувшись к Санину, промолвил, что его приятель, барон фон Дёнгоф, не скрывает от самого себя... некоторой степени... собственной вины во вчерашнем происшествии — и потому удовлетво-

рился бы легкими извинениями — «des exghizes léchères»[27]. На это Санин отвечал, что никаких извинений, ни тяжелых, ни легких, он давать не намерен, так как он виноватым себя не почитает.

— В таком случае, — возразил г-н фон Рихтер и покраснел еще более, — надо будет поменяться дружелюбными выстрелами — des goups de bisdolet à l'amiaple![28]

— Этого я уже совершенно не понимаю, — заметил Санин, — на воздух нам стрелять, что ли?

— О, не то, не так, — залепетал окончательно сконфузившийся подпоручик, — но я полагал, что так как дело происходит между порядочными людьми... Я поговорю с вашим секундантом, — перебил он самого себя — и удалился.

Санин опустился на стул, как только тот вышел, и уставился на пол. «Что, мол, это такое? Как это вдруг так завертелась жизнь? Всё прошедшее, всё будущее вдруг стушевалось, пропало — и осталось только то, что я во Франкфурте с кем-то за что-то дерусь». Вспомнилась ему одна его сумасшедшая тетушка, которая, бывало, всё подплясывала и напевала:

Подпоручик!
Мой огурчик!
Мой амурчик!
Пропляши со мной, голубчик!

И он захохотал и пропел, как она: «Подпоручик! пропляши со мной, голубчик!»

— Однако надо действовать, не терять времени, — воскликнул он громко, вскочил и увидал перед собой Панталеоне с записочкой в руке.

— Я несколько раз стучался, но вы не отвечали; я подумал, что вас дома нет, — промолвил старик и подал ему записку. — От синьорины Джеммы.

Санин взял записку — как говорится, машинально, — распечатал и прочел ее. Джемма писала ему, что она весьма беспокоится по поводу известного ему дела и желала бы свидеться с ним тотчас.

— Синьорина беспокоится, — начал Панталеоне, которому, очевидно, было известно содержание записки, — она велела мне посмотреть, что вы делаете, и привести вас к ней.

Санин взглянул на старого итальянца — и задумался. Внезап-

[27] Французское des excuses légères.

[28] дружелюбными пистолетными выстрелами (франц.: des coups de pistolet à lamiable).

ная мысль сверкнула в его голове. В первый миг она показалась ему странной до невозможности...

«Однако... почему же нет?» — спросил он самого себя.

— Г-н Панталеоне! — произнес он громко.

Старик встрепенулся, уткнул подбородок в галстух и уставился на Санина.

— Вы знаете, — продолжал Санин, — что произошло вчера?

Панталеоне пожевал губами и тряхнул своим огромным хохлом.

— Знаю.

(Эмиль только что вернулся, рассказал ему всё.)

— А, знаете! — Ну, так вот что. Сейчас от меня вышел офицер. Тот нахал вызывает меня на поединок. Я принял его вызов. Но у меня нет секунданта. Хотите *вы* быть моим секундантом?

Панталеоне дрогнул и так высоко поднял брови, что они скрылись у него под нависшими волосами.

— Вы непременно должны драться? — проговорил он наконец по-итальянски; до того мгновения он изъяснялся по-французски.

— Непременно. Иначе поступить — значило бы опозорить себя навсегда.

— Гм. Если я не соглашусь пойти к вам в секунданты, — то вы будете искать другого?

— Буду... непременно.

Панталеоне потупился.

— Но позвольте вас спросить, синьор де-Цанини, не бросит ли ваш поединок некоторую неблаговидную тень на репутацию одной персоны?

— Не полагаю; но как бы то ни было — делать нечего!

— Гм. — Панталеоне совсем ушел в свой галстух. — Ну, а тот феррофлукто Клуберио, что же он? — воскликнул он вдруг и вскинул лицо кверху.

— Он? Ничего.

— Кэ! (Chè!)[29] — Панталеоне презрительно пожал плечами. — Я должен, во всяком случае, благодарить вас, — произнес он наконец неверным голосом, — что вы и в теперешнем моем уничижении умели признать во мне порядочного человека — un galantuomo! Поступая таким образом, вы сами выказали себя настоящим galantuomo. Но я должен обдумать ваше предложение.

— Время не терпит, любезный г-н Чи... чиппа...

[29]Непереводимое итальянское восклицание вроде нашего: ну!

— То́ла, — подсказал старик. — Я прошу всего один час на размышление. Тут замешана дочь моих благодетелей... И потому я должен, я обязан — подумать!!. Через час... через три четверти часа — вы узнаете мое решение.

— Хорошо; я подожду.

— А теперь... какой же я дам ответ синьорине Джемме?

Санин взял листок бумаги, написал на нем: «Будьте покойны, моя дорогая приятельница, часа через три я приду к вам — и всё объяснится. Душевно вас благодарю за участие» — и вручил этот листик Панталеоне.

Тот бережно положил его в боковой карман — и, еще раз повторив: «Через час!» — направился было к дверям; но круто повернул назад, подбежал к Санину, схватил его руку — и, притиснув ее к своему жабо, подняв глаза к небу, воскликнул: «Благородный юноша! Великое сердце! (Nobil giovanotto! Gran cuore!) — позвольте слабому старцу (a un vecchiotto) пожать вашу мужественную десницу! (la vostra valorosa destra!)». Потом отскочил немного назад, взмахнул обеими руками — и удалился.

Санин посмотрел ему вслед... взял газету и принялся читать. Но глаза его напрасно бегали по строкам: он не понимал ничего.

Xviii

Час спустя кельнер снова вошел к Санину и подал ему старую, запачканную визитную карточку, на которой стояли следующие слова: Панталеоне Чиппатола, из Варезе, придворный певец (cantante di camera) его королевского высочества герцога Моденского; а вслед за кельнером явился и сам Панталеоне. Он переоделся с ног до головы. На нем был порыжелый черный фрак и белый пикеневый жилет, по которому затейливо извивалась томпаковая цепочка; тяжелая сердоликовая печатка спускалась низко на узкие черные панталоны с гульфиком. В правой руке он держал черную шляпу из заячьего пуха, в левой две толстые замшевые перчатки; галстух он повязал еще шире и выше обыкновенного — и в накрахмаленное жабо воткнул булавку с камнем, называемым «кошачьим глазом» (oeil de chat). На указательном пальце правой руки красовался перстень, изображавший две сложенные длани, а между ними пылающее сердце. Залежалым запахом, запахом камфары и мускуса несло от всей особы старика; озабоченная торжественность его осанки поразила бы самого равнодушного зрителя! Санин встал ему навстречу.

— Я ваш секундант, — промолвил Панталеоне по-французски и наклонился всем корпусом вперед, причем носки поставил врозь, как это делают танцоры. — Я пришел за инструкциями. Желаете вы драться без пощады?

— Зачем же без пощады, дорогой мой г-н Чиппатола! Я ни за что в мире не возьму моих вчерашних слов назад — но я не кровопийца!.. Да вот постойте, сейчас придет секундант моего противника. Я уйду в соседнюю комнату — а вы с ним и условитесь. Поверьте, я в век не забуду вашей услуги и благодарю вас от души.

— Честь прежде всего! — отвечал Панталеоне и опустился в кресла, не дожидаясь, чтобы Санин попросил его сесть. — Если этот феррофлукто спичебуббио, — заговорил он, мешая французский язык с итальянским, — если этот торгаш Клуберио не умел понять свою прямую обязанность или струсил, — тем хуже для него!.. Грошовая душа — и баста!.. Что же касается до условий поединка — я ваш секундант и ваши интересы для меня священны!!. Когда я жил в Падуе, там стоял полк белых драгунов — и я со многими офицерами был очень близок!.. Весь их кодекс мне очень хорошо известен. Ну и с вашим принчипе Тарбуски я часто беседовал об этих вопросах... Тот секундант скоро должен прийти?

— Я жду его каждую минуту — да вот он сам и идет, — прибавил Санин, глянув на улицу.

Панталеоне встал, посмотрел на часы, поправил свой кок и поспешно засунул в башмак болтавшуюся из-под панталон тесемку. Молодой подпоручик вошел, всё такой же красный и смущенный.

Санин представил секундантов друг другу.

— M-r Richter, souslieutenant! — M-r Zippatola, artiste![30]

Подпоручик слегка изумился при виде старика... О, что бы он сказал, если б кто шепнул ему в это мгновение, что представленный ему «артист» занимается также и поваренным искусством!.. Но Панталеоне принял такой вид, как будто участвовать в устройстве поединков было для него самым обычным делом: вероятно, ему в этом случае помогали воспоминания его театральной карьеры — и он разыгрывал роль секунданта именно как роль. И он и подпоручик, оба помолчали немного.

— Что ж? Приступим! — первый промолвил Панталеоне, играя сердоликовой печаткой.

— Приступим, — ответил подпоручик, — но... присутствие одного из противников...

— Я вас немедленно оставлю, господа, — воскликнул Санин, поклонился, вышел в спальню — и запер за собою дверь.

Он бросился на кровать — и принялся думать о Джемме... но разговор секундантов проникал к нему сквозь закрытую дверь. Он происходил на французском языке; оба коверкали его нещадно, каждый на свой лад. Панталеоне опять упомянул о драгунах в Падуе, о принчипе Тарбуска — подпоручик об «exghizes léchères» и о «goups à l'amiaple». Но старик и слышать не хотел ни о каких exghizes! К ужасу Санина, он вдруг пустился толковать своему со-

[30] Г-н Рихтер, подпоручик! — Г-н Чиппатола, артист! (франц.).

беседнику о некоторой юной невинной девице, один мизинец которой стоит больше, чем все офицеры мира... (oune zeune damigella innoucenta, qu'a ella sola dans soun péti doa vale più que toutt le zouffissié del mondo!) и несколько раз с жаром повторил: «Это стыд! это стыд!» (E ouna onta, ouna onta!) Поручик сперва не возражал ему, но потом в голосе молодого человека послышалась гневная дрожь, и он заметил, что пришел не затем, чтобы выслушивать моральные сентенции...

— В вашем возрасте всегда полезно выслушивать справедливые речи! — воскликнул Панталеоне.

Прение между г-ми секундантами несколько раз становилось бурным; оно продолжалось более часа и завершилось, наконец, следующими условиями: «стреляться барону фон Дёнгофу и господину де Санину на завтрашний день, в 10 часов утра, в небольшом лесу около Ганау, на расстоянии двадцати шагов; каждый имеет право стрелять два раза по знаку, данному секундантами. Пистолеты без шнеллера и не нарезные». Г-н фон Рихтер удалился, а Панталеоне торжественно открыл дверь спальни и, сообщив результат совещания, снова воскликнул: «Bravo, Russo! Bravo, giovanotto![31] Ты будешь победителем!»

Несколько минут спустя они оба отправились в кондитерскую Розелли. Санин предварительно взял с Панталеоне слово держать дело о дуэли в глубочайшей тайне. В ответ старик только палец кверху поднял и, прищурив глаз, прошептал два раза сряду: Segredezza! (Таинственность!) Он видимо помолодел и даже выступал свободнее. Все эти необычайные, хотя и неприятные, события живо переносили его в ту эпоху, когда он сам и принимал и делал вызовы, — правда, на сцене. Баритоны, как известно, очень петушатся в своих ролях.

[31] «Браво, русский! Браво, молодой человек!» (итал.).

Xix

Эмиль выбежал навстречу Санину — он более часа караулил его приход — и торопливо шепнул ему на ухо, что мать ничего не знает о вчерашней неприятности и что даже намекать на нее не следует, а что его опять посылают в магазин!!, но что он туда не пойдет, а спрячется где-нибудь! Сообщив всё это в течение нескольких секунд, он внезапно припал к плечу Санина, порывисто поцеловал его и бросился вниз по улице. В кондитерской Джемма встретила Санина; хотела что-то сказать — и не могла. Ее губы слегка дрожали, а глаза щурились и бегали по сторонам. Он поспешил успокоить ее уверением, что всё дело кончилось... сущими пустяками.

— У вас никого не было сегодня? — спросила она.

— Было у меня одно лицо — мы с ним объяснились — и мы... мы пришли к самому удовлетворительному результату.

Джемма вернулась за прилавок.

«Не поверила она мне!» — подумал он... однако отправился в соседнюю комнату и застал там фрау Ленору.

У ней мигрень прошла, но она находилась в настроении меланхолическом. Она радушно улыбнулась ему, но в то же время предупредила его, что ему будет сегодня с нею скучно, так как она не в состоянии его занять. Он подсел к ней и заметил, что ее веки покраснели и опухли.

— Что с вами, фрау Леноре? Неужели вы плакали?

— Тсссс... — прошептала она и указала головою на комнату, где находилась ее дочь. — Не говорите этого... громко.

— Но о чем же вы плакали?

— Ах, мосьё Санин, сама не знаю о чем!

— Вас никто не огорчил?

— О нет!.. Мне очень скучно вдруг сделалось. Вспомнила я ДжованБаттиста... свою молодость... Потом, как это всё скоро прошло. Стара я становлюсь, друг мой, — и не могу я никак с этим помириться. Кажется, сама я всё та же, что прежде... а старость — вот она... вот она! — На глазах фрау Леноры показались слезинки. — Вы, я вижу, смотрите на меня да удивляетесь... Но вы тоже постареете, друг мой, и узнаете, как это горько!

Санин принялся утешать ее, упомянул об ее детях, в которых воскресала ее собственная молодость, попытался даже подтрунить над нею, уверяя, что она напрашивается на комплименты... Но она, не шутя, попросила его «перестать», и он тут в первый раз мог убедиться, что подобную унылость, унылость сознанной старости, ничем утешить и рассеять нельзя; надо подождать, пока она пройдет сама собою. Он предложил ей сыграть с ним в тресетте — и ничего лучшего он не мог придумать. Она тотчас согласилась и как будто повеселела.

Санин играл с ней до обеда и после обеда. Панталеоне также принял участие в игре. Никогда его хохол не падал так низко на лоб, никогда подбородок не уходил так глубоко в галстух! Каждое движение его дышало такой сосредоточенной важностью, что, глядя на него, невольно рождалась мысль: какую это тайну с такою твердостью хранит этот человек?

Но — segredezza! segredezza!

Он в течение всего того дня всячески старался оказывать глубочайшее почтение Санину; за столом, торжественно и решительно, минуя дам, подавал блюда ему первому; во время карточной игры уступал ему прикупку, не дерзал его ремизить; объявлял, ни к селу ни к городу, что русские — самый великодушный, храбрый и решительный народ в мире!

«Ах ты, старый лицедей!» — думал про себя Санин.

И не столько дивился он неожиданному настроению духа в г-же Розелли, сколько тому, как ее дочь с ним обращалась. Она не то, чтобы избегала его... напротив, она постоянно садилась в небольшом от него расстоянии, прислушивалась к его речам, глядела на него; но она решительно не хотела вступать с ним в беседу, и как только он заговаривал с нею — тихонько поднималась с места и тихонько удалялась на несколько мгновений. Потом она появлялась опять, и опять усаживалась где-нибудь в уголке — и сидела неподвижно, словно размышляя и недоумевая... недоумевая пуще всего. Сама фрау Леноре заметила, наконец, необычайность ее поведения и раза два спросила, что с ней.

— Ничего, — ответила Джемма, — ты знаешь, я бываю иногда такая.

— Это точно, — соглашалась с нею мать.

Так прошел весь этот длинный день, ни оживленно, ни вяло — ни весело, ни скучно. Держи себя Джемма иначе — Санин... как знать? не совладал бы с искушением немного порисоваться или просто поддался бы чувству грусти перед возможной, быть может, вечной разлукой... Но так как ему ни разу не пришлось даже поговорить с Джеммой, то он должен был удовлетвориться тем, что в течение четверти часа, перед вечерним кофе, брал минорные аккорды на фортепиано.

Эмиль вернулся поздно и, во избежание расспросов о г-не Клюбере, отретировался весьма скоро. Пришла очередь удалиться и Санину.

Он стал прощаться с Джеммой. Вспомнилось ему почему-то расставание Ленского с Ольгой в «Онегине». Он крепко стиснул ей руку и попытался заглянуть ей в лицо — но она слегка отворотилась и высвободила свои пальцы.

Xx

Уже совсем «вызвездило», когда он вышел на крыльцо. И сколько же их высыпало, этих звезд — больших, малых, желтых, красных, синих, белых! Все они так и рдели, так и роились, наперерыв играя лучами. Луны не было на небе, но и без нее каждый предмет четко виднелся в полусветлом, бестенном сумраке. Санин прошел улицу до конца... Не хотелось ему тотчас возвратиться домой; он чувствовал потребность побродить на чистом воздухе. Он вернулся назад — и не успел еще поравняться с домом, в котором помещалась кондитерская Розелли, как одно из окон, выходивших на улицу, внезапно стукнуло и отворилось — на черном его четырехугольнике (в комнате не было огня) появилась женская фигура — и он услышал, что его зовут: «Monsieur Dimitri!»

Он тотчас бросился к окну... Джемма!

Она облокотилась о подоконник и наклонилась вперед.

— Monsieur Dimitri, — начала она осторожным голосом, — я в течение целого нынешнего дня хотела вам дать одну вещь... но не решалась; и вот теперь, неожиданно увидя вас снова, подумала, что, видно, так суждено...

Джемма невольно остановилась на этом слове. Она не могла продолжать: нечто необыкновенное произошло в это самое мгновенье.

Внезапно, среди глубокой тишины, при совершенно безоблачном небе, налетел такой порыв ветра, что сама земля, казалось, затрепетала под ногами, тонкий звездный свет задрожал и застружился, самый воздух завертелся клубом. Вихорь, не холодный, а теплый, почти знойный, ударил по деревьям, по крыше дома, по его стенам, по улице; он мгновенно сорвал шляпу с головы Санина, взвил и разметал черные кудри Джеммы. Голова Санина приходи-

лась в уровень с подоконником; он невольно прильнул к нему — и Джемма ухватилась обеими руками за его плечи, припала грудью к его голове. Шум, звон и грохот длились около минуты... Как стая громадных птиц, помчался прочь взыгравший вихорь... Настала вновь глубокая тишина.

Санин приподнялся и увидал над собою такое чудное, испуганное, возбужденное лицо, такие огромные, страшные, великолепные глаза — такую красавицу увидал он, что сердце в нем замерло, он приник губами к тонкой пряди волос, упавшей ему на грудь, — и только мог проговорить:

— О Джемма!

— Что это было такое? Молния? — спросила она, широко поводя глазами и не принимая с его плеч своих обнаженных рук.

— Джемма! — повторил Санин.

Она вздрогнула, оглянулась назад, в комнату, — и быстрым движением, достав из-за корсажа уже увядшую розу, бросила ее Санину.

— Я хотела дать вам этот цветок...

Он узнал розу, которую он отвоевал накануне...

Но уже окошко захлопнулось, и за темным стеклом ничего не виднелось и не белело.

Санин пришел домой без шляпы... Он и не заметил, что он ее потерял.

Xxi

Он заснул под самое утро. И не мудрено! Под ударом того летнего, мгновенного вихря он почти так же мгновенно почувствовал — не то, что Джемма красавица, не то, что она ему нравилась — это он знал и прежде... а то, что он едва ли... не полюбил ее! Мгновенно, как тот вихрь, налетела на него любовь. А тут эта глупая дуэль! Скорбные предчувствия начали его мучить. Ну, положим, не убьют его... Что же может выйти из его любви к этой девушке, к невесте другого? Положим даже, что этот «другой» ему не опасен, что сама Джемма полюбит или уже полюбила его... Что же из этого? Как что? Такая красавица...

Он ходил по комнате, садился за стол, брал лист бумаги, чертил на нем несколько строк — и тотчас их вымарывал... Вспоминал удивительную фигуру Джеммы, в темном окне, под лучами звезд, всю развеянную теплым вихрем; вспоминал ее мраморные руки, подобные рукам олимпийских богинь, чувствовал их живую тяжесть на плечах своих... Потом он брал брошенную ему розу — и казалось ему, что от ее полузавядших лепестков веяло другим, еще более тонким запахом, чем обычный запах роз...

«И вдруг его убьют или изувечат?»

Он не ложился в постель и заснул, одетый, на диване.

Кто-то потрепал его по плечу...

Он открыл глаза и увидел Панталеоне.

— Спит, как Александр Македонский накануне вавилонского сражения! — воскликнул старик.

— Да который час? — спросил Санин.

— Семь часов без четверти; до Ганау — два часа езды, а мы

должны быть первые на месте. Русские всегда предупреждают врагов! Я взял лучшую карету во Франкфурте!

Санин начал умываться.

— А пистолеты где?

— Пистолеты привезет тот феррофлукто тедеско. И доктора он же привезет.

Панталеоне видимо бодрился, по-вчерашнему; но когда он сел в карету с Саниным, когда кучер защелкал бичом и лошади с места пустились вскачь, — с бывшим певцом и приятелем падуйских драгунов произошла внезапная перемена. Он смутился, даже струхнул. В нем словно что-то обрушилось, как плохо выведенная стенка.

— Однако что это мы делаем, боже мой, santissima Madonna![32] — воскликнул он неожиданно пискливым голосом и схватил себя за волосы. — Что я делаю, я старый дурак, сумасшедший, frenetico?

Санин удивился и засмеялся и, слегка обняв Панталеоне за талью, напомнил ему французскую поговорку: «Le vin est tiré — il faut le boire»[33] (по-русски: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж»).

— Да, да, — отвечал старик, — эту чашу мы разопьем с вами, — а всё же я безумец! Я — безумец! Всё было так тихо, хорошо... и вдруг: та-та-та, тра-та-та!

— Словно tutti[34] в оркестре, — заметил Санин с натянутой улыбкой. — Но виноваты не вы.

— Я знаю, что не я! Еще бы! Всё же это... необузданный такой поступок. Diavolo! Diavolo! — повторял Панталеоне, потрясая хохлом и вздыхая.

А карета всё катилась да катилась.

Утро было прелестное. Улицы Франкфурта, едва начинавшие оживляться, казались такими чистыми и уютными; окна домов блестели переливчато, как фольга; а лишь только карета выехала за заставу — сверху, с голубого, еще не яркого неба, так и посыпались голосистые раскаты жаворонков. Вдруг на повороте шоссе из-за высокого тополя показалась знакомая фигура, ступила несколько шагов и остановилась. Санин пригляделся... Боже мой! Эмиль!

— Да разве он знает что-нибудь? — обратился он к Панталеоне.

---

[32] пресвятая Мадонна! (итал.).

[33] «Вино откупорено — надо его пить» (франц.).

[34] все (итал.).

— Я же вам говорю, что я безумец, — отчаянно, чуть не с криком возопил бедный итальянец, — этот злополучный мальчик всю ночь мне не дал покоя — и я ему сегодня утром, наконец, всё открыл!

«Вот тебе и segredezza!» — подумал Санин.

Карета поравнялась с Эмилем; Санин велел кучеру остановить лошадей и подозвал к себе «злополучного мальчика». Нерешительными шагами приблизился Эмиль, бледный, бледный, как в день своего припадка. Он едва держался на ногах.

— Что вы здесь делаете? — строго спросил его Санин, — зачем вы не дома?

— Позвольте... позвольте мне ехать с вами, — пролепетал Эмиль трепетным голосом и сложил руки. Зубы у него стучали как в лихорадке. — Я вам не помешаю — только возьмите меня!

— Если вы чувствуете хоть на волос привязанности или уважения ко мне, — промолвил Санин, — вы сейчас вернетесь домой или в магазин к г-ну Клюберу, и никому не скажете ни единого слова, и будете ждать моего возвращения!

— Вашего возвращения, — простонал Эмиль, — и голос его зазвенел и оборвался, — но если вас...

— Эмиль! — перебил его Санин и указал глазами на кучера, — опомнитесь! Эмиль, пожалуйста, ступайте домой! Послушайтесь меня, друг мой! Вы уверяете, что любите меня. Ну, я вас прошу!

Он протянул ему руку. Эмиль покачнулся вперед, всхлипнул, прижал ее к своим губам — и, соскочив с дороги, побежал назад к Франкфурту, через поле.

— Тоже благородное сердце, — пробормотал Панталеоне, но Санин угрюмо взглянул на него... Старик уткнулся в угол кареты. Он сознавал свою вину; да сверх того он с каждым мгновеньем всё более изумлялся: неужели это *он* взаправду сделался секундантом, и лошадей *он* достал, и всем распорядился, и мирное свое обиталище покинул в шесть часов утра? К тому же ноги его разболелись и заныли.

Санин почел за нужное ободрить его — и попал в жилку, нашел настоящее слово.

— Где же ваш прежний дух, почтенный синьор Чиппатола? Где — il antico valor?

Синьор Чиппатола выпрямился и нахмурился.

— Il antico valor? — провозгласил он басом. — Non è ancora spento (он еще не весь утрачен) — il antico valor!!

Он приосанился, заговорил о своей карьере, об опере, о великом

теноре Гарсиа — и приехал в Ганау молодцом. Как подумаешь: нет ничего на свете сильнее... и бессильнее слова!

Xxii

Лесок, в котором долженствовало происходить побоище, находился в четверти мили от Ганау. Санин с Панталеоне приехали первые, как он предсказывал; велели карете остаться на опушке леса и углубились в тень довольно густых и частых деревьев. Им пришлось ждать около часу.

Ожидание не показалось особенно тягостным Санину; он расхаживал взад и вперед по дорожке, прислушивался, как пели птицы, следил за пролетавшими «коромыслами» и, как большая часть русских людей в подобных случаях, старался не думать. Раз только на него нашло раздумье: он наткнулся на молодую липу, сломанную, по всем вероятиям, вчерашним шквалом. Она положительно умирала... все листья на ней умирали. «Что это? предзнаменование?» — мелькнуло у него в голове; но он тотчас же засвистал, перескочил через ту самую липу, зашагал по дорожке. Панталеоне — тот ворчал, бранил немцев, кряхтел, потирал то спину, то колени. Он даже зевал от волнения, что придавало презабавное выражение его маленькому, съеженному личику. Санин чуть не расхохотался, глядя на него.

Послышалось наконец рокотание колес по мягкой дороге. «Они!» — промолвил Панталеоне и насторожился и выпрямился, не без мгновенной нервической дрожи, которую, однако, поспешил замаскировать восклицанием: брррр! — и замечанием, что сегодняшнее утро довольно свежее. Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникал уже в самый лес.

Оба офицера скоро показались под его сводами; их сопровождал небольшой плотненький человечек с флегматическим, почти заспанным лицом — военный доктор. Он нес в одной руке глиняный кувшин с водою — на всякий случай; сумка с хирургическими

инструментами и бинтами болталась на его левом плече. Видно было, что он к подобным экскурсиям привык донельзя; они составляли один из источников его доходов: каждая дуэль приносила ему восемь червонцев — по четыре с каждой из воюющих сторон. Г-н фон Рихтер нес ящик с пистолетами, г-н фон Дёнгоф вертел в руке — вероятно, для «шику» — небольшой хлыстик.

— Панталеоне! — шепнул Санин старику, — если... если меня убьют — всё может случиться, — достаньте из моего бокового кармана бумажку — в ней завернут цветок — и отдайте эту бумажку синьорине Джемме. Слышите? Вы обещаетесь?

Старик уныло взглянул на него — и качнул утвердительно головою... Но бог ведает, понял ли он, о чем просил его Санин.

Противники и секунданты обменялись, как водится, поклонами; один доктор даже бровью не повел — и присел, зевая, на траву: «Мне, мол, не до изъявлений рыцарской вежливости». Г-н фон Рихтер предложил г-ну «Тшибадола» выбрать место; г-н «Тшибадола» отвечал, тупо ворочая языком («стенка» в нем опять обрушилась), что: «Действуйте, мол, вы, милостивый государь; я буду наблюдать». ..

И г-н фон Рихтер начал действовать. Отыскал тут же, в лесу, прехорошенькую, всю испещренную цветами, поляну; отмерил шаги, обозначил два крайних пункта оструганными наскоро палочками, достал из ящика пистолеты и, присев на корточки, заколотил пули; словом, трудился и хлопотал изо всех сил, беспрестанно утирая свое вспотевшее лицо белым платочком. Сопровождавший его Панталеоне походил более на озябшего человека. В течение всех этих приготовлений оба противника стояли поодаль, напоминая собою двух наказанных школьников, которые дуются на своих гувернеров.

Настало решительное мгновенье...

Каждый взял свой пистолет...

Но тут г-н фон Рихтер заметил Панталеоне, что ему, как старшему секунданту, следует, по правилам дуэли, прежде чем провозгласить роковое: «Раз! два! три!», обратиться к противникам с последним советом и предложением: помириться; что хотя это предложение не имеет никогда никаких последствий и вообще не что иное, как пустая формальность, однако исполнением этой формальности г-н Чиппатола отклоняет от себя некоторую долю ответственности; что, правда, подобная аллокуция[35] составляет пря-

[35] речь, обращение (лат.: allocutio).

мую обязанность так называемого «беспристрастного свидетеля» (unparteiischer Zeuge) — но так как у них такового не имеется, то он, г-н фон Рихтер, охотно уступает эту привилегию своему почтенному собрату. Панталеоне, который успел уже затушеваться за куст так, чтобы не видеть вовсе офицера-обидчика, сперва ничего не понял изо всей речи г-на фон Рихтера — тем более, что она была произнесена в нос; но вдруг встрепенулся, проворно выступил вперед и, судорожно стуча руками в грудь, хриплым голосом возопил на своем смешанном наречии: «A-la-la-la... Che bestialità! Deux zeunommes comme ça qué si battono — perchè? Che diavolo? Andate a casa!»[36]

— Я не согласен на примирение, — поспешно проговорил Санин.

— И я тоже не согласен, — повторил за ним его противник.

— Ну так кричите: раз, два, три! — обратился фон Рихтер к растерявшемуся Панталеоне.

Тот немедленно опять нырнул в куст — и уже оттуда прокричал, весь скорчившись, зажмурив глаза и отвернув голову, но во всё горло:

— Una... due... e tre![37]

Первый выстрелил Санин — и не попал. Пуля его звякнула о дерево. Барон Дёнгоф выстрелил тотчас вслед за ним — преднамеренно в сторону, на воздух.

Наступило напряженное молчание... Никто не трогался с места. Панталеоне слабо охнул.

— Прикажете продолжать? — проговорил Дёнгоф.

— Зачем вы выстрелили на воздух? — спросил Санин.

— Это не ваше дело.

— Вы и во второй раз будете стрелять на воздух? — спросил опять Санин.

— Может быть; не знаю.

— Позвольте, позвольте, господа... — начал фон Рихтер, — дуэлланты не имеют права говорить между собою. Это совсем не в порядке.

— Я отказываюсь от своего выстрела, — промолвил Санин и бросил пистолет на землю.

— И я тоже не намерен продолжать дуэль, — воскликнул Дён-

[36] «Что за дикость! Два таких молодых человека дерутся — зачем? Какого чёрта? Ступайте по домам!» (итал. и франц.).

[37] Раз... два... и три! (итал.).

гоф и тоже бросил свой пистолет. — Да сверх того я теперь готов сознаться, что я был не прав — третьего дня.

Он помялся на месте — и нерешительно протянул руку вперед. Санин быстро приблизился к нему — и пожал ее. Оба молодых человека с улыбкой поглядели друг на друга — и лица у обоих покрылись краской.

— Bravi! bravi! — внезапно, как сумасшедший, загорланил Панталеоне и, хлопая в ладоши, турманом выбежал из-за куста; а доктор, усевшийся в стороне, на срубленном дереве, немедленно встал, вылил воду из кувшина и пошел, лениво переваливаясь, к опушке леса.

— Честь удовлетворена — и дуэль кончена! — провозгласил фон Рихтер.

— Fuori! (фора!) — по старой памяти, еще раз гаркнул Панталеоне.

Разменявшись поклонами с г-ми офицерами и садясь в карету, Санин, правда, ощущал во всем существе своем если не удовольствие, то некоторую легкость, как после выдержанной операции; но и другое чувство зашевелилось в нем, чувство, похожее на стыд... Фальшью, заранее условленной казенщиной, обыкновенной офицерской, студенческой штукой показался ему поединок, в котором он только что разыграл свою роль. Вспомнил он флегматического доктора, вспомнил, как он улыбнулся — то есть сморщил нос, когда увидел его, выходившего из лесу чуть не под руку с бароном Дёнгофом. А потом, когда Панталеоне выплачивал тому же доктору следуемые ему четыре червонца... Эх! нехорошо что-то!

Да; Санину было немножко совестно и стыдно... хотя, с другой стороны, что же ему было сделать? Не оставлять же без наказания дерзости молодого офицера, не уподобиться же г-ну Клюберу? Он заступился за Джемму, он защитил ее... Оно так; а все-таки у него скребло на душе, и было ему совестно, и даже стыдно.

Зато Панталеоне — просто торжествовал! Им внезапно обуяла гордость. Победоносный генерал, возвращающийся с поля выигранной им битвы, не озирался бы с большим самодовольствием. Поведение Санина во время поединка наполняло его восторгом. Он величал его героем — и слышать не хотел его увещаний и даже просьб. Он сравнивал его с монументом из мрамора или бронзы — со статуей командора в «Дон-Жуане»! Про самого себя он сознавался, что почувствовал некоторое смятение. «Но ведь я артист,

— заметил он, — у меня натура нервозная, а вы — сын снегов и скал гранитных».

Санин решительно не знал, как ему унять расходившегося артиста.

Почти на том же самом месте дороги, где часа два тому назад они настигли Эмиля, — он снова выскочил из-за дерева и с радостным криком на губах, помахивая картузом над головою и подпрыгивая, бросился прямо к карете, чуть-чуть не попал под колесо и, не дожидаясь, чтобы лошади остановились, вскарабкался через закрытые дверцы — и так и впился в Санина.

— Вы живы, вы не ранены! — твердил он. — Простите меня, я не послушался вас, я не вернулся во Франкфурт... Я не мог! Я ждал вас здесь... Расскажите мне, как это было! Вы... убили его?

Санин с трудом успокоил и усадил Эмиля.

Многоглаголиво, с видимым удовольствием сообщил ему Пантелеоне все подробности поединка, и уж, конечно, не преминул снова упомянуть о монументе из бронзы, о статуе командора! Он даже встал с своего места и, растопырив ноги, для удержания равновесия, скрестив на груди руки и презрительно скосясь через плечо, воочию представлял командора-Санина! Эмиль слушал с благоговением, изредка прерывая рассказ восклицанием или быстро приподнимаясь и столь же быстро целуя своего героического друга.

Колеса кареты застучали о мостовую Франкфурта — и остановились наконец перед гостиницей, в которой жил Санин.

В сопровождении своих двух спутников взбирался он по лестнице во второй этаж — как вдруг из темного коридорчика проворными шагами вышла женщина: лицо ее было покрыто вуалью; она остановилась перед Саниным, слегка пошатнулась, вздохнула трепетно, тотчас же побежала вниз на улицу — и скрылась, к великому изумлению кельнера, который объявил, что «эта дама более часа ожидала возвращения господина иностранца». Как ни мгновенно было ее появление, Санин успел узнать в ней Джемму. Он узнал ее глаза под плотным шелком коричневой вуали.

— Разве фрейлейн Джемме было известно... — протянул он недовольным голосом, по-немецки, обратившись к Эмилю и Пантелеоне, которые шли за ним по пятам.

Эмиль покраснел и смешался.

— Я принужден был ей всё сказать, — пролепетал он, — она догадывалась, и я никак не мог... Но ведь теперь это ничего не зна-

чит, — подхватил он с живостью, — всё так прекрасно кончилось, и она вас видела здоровым и невредимым!

Санин отвернулся.

— Какие вы, однако, болтуны оба! — промолвил он с досадой, вошел к себе в комнату и сел на стул.

— Не сердитесь, пожалуйста, — взмолился Эмиль.

— Хорошо, я не буду сердиться. (Санин действительно не сердился — да и, наконец, едва ли бы мог он желать, чтобы Джемма *ничего* не узнала.) Хорошо... полноте обниматься. Ступайте теперь. Я хочу остаться наедине. Я лягу спать. Я устал.

— Превосходная мысль! — воскликнул Панталеоне. — Вам нужно отдохновение! Вы его вполне заслужили, благородный синьоре! Пойдем, Эмилио! На цыпочках! На цыпочках! Шшшш!

Сказавши, что он хочет спать, Санин желал только отделаться от своих товарищей; но, оставшись один, он взаправду почувствовал значительную усталость во всех членах: всю предшествовавшую ночь он почти не смыкал глаз и, бросившись на постель, немедленно заснул глубоким сном.

Xxiii

Несколько часов сряду он спал беспробудно. Потом ему стало грезиться, что он опять дерется на дуэли, что в качестве противника стоит перед ним г-н Клюбер, а на елке сидит попугай, и этот попугай Панталеоне, и твердит он, щелкая носом: раз-раз-раз! раз-раз-раз!

«Раз... раз... раз!!» послышалось ему уже слишком явственно: он открыл глаза, приподнял голову... кто-то стучался к нему в дверь.

— Войдите! — крикнул Санин.

Появился кельнер и доложил, что одной даме очень нужно его видеть.

«Джемма!» — мелькнуло у него в голове... но дама оказалась ее матерью — фрау Леноре.

Она, как только вошла, тотчас опустилась на стул и начала плакать.

— Что с вами, моя добрая, милая г-жа Розелли? — начал Санин, подсев к ней и с тихой лаской касаясь ее руки. — Что случилось? Успокойтесь, прошу вас.

— Ах, Herr Dimitri, я очень... очень несчастна!

— Вы несчастны?

— Ах, очень! И могла ли я ожидать? Вдруг, как гром из ясного неба...

Она с трудом переводила дыхание.

— Но что такое? Объяснитесь! Хотите стакан воды?

— Нет, благодарствуйте. — Фрау Леноре утерла платком глаза и с новой силой заплакала. — Ведь я всё знаю! Всё!

— То есть как же: всё?

— Всё, что произошло сегодня! И причина... мне тоже извест-

на! Вы поступили, как благородный человек; но какое несчастное стечение обстоятельств! Недаром мне не нравилась эта поездка в Соден... недаром! (Фрау Леноре ничего подобного не говорила в самый день поездки, но теперь ей казалось, что уже тогда она «всё» предчувствовала.) Я и пришла к вам, как к благородному человеку, как к другу, хотя я увидала вас в первый раз пять дней тому назад... Но ведь я вдова, одинокая... Моя дочь...

Слезы заглушили голос фрау Леноре. Санин не знал, что подумать.

— Ваша дочь? — повторил он.

— Моя дочь, Джемма, — вырвалось почти со стоном у фрау Леноре из-под смоченного слезами платка, — объявила мне сегодня, что не хочет выйти замуж за г-на Клюбера и что я должна отказать ему!

Санин даже отодвинулся слегка: он этого не ожидал.

— Я уже не говорю о том, — продолжала фрау Леноре, — что это позор, что этого никогда на свете не бывало, чтобы невеста отказала жениху; но ведь это для нас разорение, Herr Dimitri! — Фрау Леноре старательно и туго свернула платок в маленький-маленький клубочек, точно она хотела заключить в него всё свое горе. — Жить доходами с нашего магазина мы больше не можем, Herr Dimitri! а г-н Клюбер очень богат и будет еще богаче. И за что же ему отказать? За то, что он не вступился за свою невесту? Положим, это не совсем хорошо с его стороны, но ведь он статский человек, в университете не воспитывался и, как солидный торговец, должен был презреть легкомысленную шалость неизвестного офицерчика. И какая же это обида, Herr Dimitri?

— Позвольте, фрау Леноре, вы словно осуждаете меня...

— Нисколько я вас не осуждаю, нисколько! Вы совсем другое дело; вы, как все русские, военный...

— Позвольте, я вовсе не...

— Вы иностранец, проезжий, я вам благодарна, — продолжала фрау Леноре, не слушая Санина. Она задыхалась, разводила руками, снова развертывала платок и сморкалась. По одному тому, как выражалось ее горе, можно было видеть, что она родилась не под северным небом.

— И как же будет г-н Клюбер торговать в магазине, если он будет драться с покупателями? Это совсем несообразно! И теперь я должна ему отказать! Но чем мы будем жить? Прежде мы одни делали девичью кожу и нугá с фисташками — и к нам ходили покупатели, а теперь все делают девичью кожу!! Вы подумайте:

уж без того в городе будут говорить о вашей дуэли... разве это можно утаить? И вдруг свадьба расстраивается! Ведь это шкандал, шкандал! Джемма — прекрасная девушка; она очень любит меня, но она упрямая республиканка, бравирует мнением других. Вы одни можете ее уговорить!

Санин изумился еще пуще прежнего.

— Я, фрау Леноре?

— Да, вы одни... Вы одни. Я затем и пришла к вам: я ничего другого придумать не умела! Вы такой ученый, такой хороший человек! Вы же за нее заступились. Вам она поверит! Она *должна* вам поверить — вы ведь жизнью своей рисковали! Вы ей докажете, а я уже больше ничего не могу! Вы ей докажете, что она и себя и всех нас погубит. Вы спасли моего сына — спасите и дочь! Вас сам бог послал сюда... Я готова на коленях просить вас...

И фрау Леноре наполовину приподнялась со стула, как бы собираясь упасть Санину в ноги... Он удержал ее.

— Фрау Леноре! Ради бога! Что вы это?

Она судорожно схватила его за руки.

— Вы обещаетесь?

— Фрау Леноре, подумайте, с какой стати я...

— Вы обещаетесь? Вы не хотите, чтобы я тут же, сейчас, умерла перед вами?

Санин потерялся. Ему в первый раз в жизни приходилось иметь дело с загоревшейся итальянскою кровью.

— Я сделаю всё, что будет вам угодно! — воскликнул он. — Я поговорю с фрейлейн Джеммой...

Фрау Леноре вскрикнула от радости.

— Только я, право, не знаю, какой может выйти результат...

— Ах, не отказывайтесь, не отказывайтесь! — промолвила фрау Леноре умоляющим голосом, — вы уже согласились! Результат, наверное, выйдет отличный. Во всяком случае, *я* уже больше ничего не могу! *Меня* она не послушается!

— Она так решительно объявила вам свое нежелание выйти за г-на Клюбера? — спросил Санин после небольшого молчания.

— Как ножом отрезала! Она вся в отца, в ДжиованБаттиста! Бедовая!

— Бедовая? она?.. — протяжно повторил Санин.

— Да... да... но она тоже ангел. Она вас послушается. Вы придете, придете скоро? О мой милый русский друг! — Фрау Леноре порывисто встала со стула и так же порывисто обхватила голову сидевшего перед ней Санина. — Примите благословение матери —

и дайте мне воды!

Санин принес г-же Розелли стакан воды, дал ей честное слово, что придет немедленно, проводил ее по лестнице до улицы — и, вернувшись в свою комнату, даже руками всплеснул и глаза вытаращил.

— «Вот, — подумал он, — вот *теперь* завертелась жизнь! Да и так завертелась, что голова кругом пошла». Он и не попытался взглянуть внутрь себя, понять, что там происходит: сумятица — и баста! «Выдался денек! — невольно шептали его губы. — Бедовая... говорит ее мать... И я должен ей советовать — ей?! И что советовать?!»

Голова действительно кружилась у Санина — и над всем этим вихрем разнообразных ощущений, впечатлений, недосказанных мыслей постоянно носился образ Джеммы, тот образ, который так неизгладимо врезался в его память в ту теплую, электрически-потрясенную ночь, в том темном окне, под лучами роившихся звезд!

Xxiv

Нерешительными шагами подходил Санин к дому г-жи Розелли. Сердце его сильно билось; он явственно чувствовал и даже слышал, как оно толкалось в ребра. Что он скажет Джемме, как заговорит с нею? Он вошел в дом не через кондитерскую, но по заднему крыльцу. В небольшой передней комнате он встретил фрау Леноре. Она и обрадовалась ему и испугалась.

— Я ждала, ждала вас, — проговорила она шёпотом, попеременно обеими руками стискивая его руку. — Ступайте в сад; она там. Смотрите же: я на вас надеюсь!

Санин отправился в сад.

Джемма сидела на скамейке, близ дорожки, и из большой корзины, наполненной вишнями, отбирала самые спелые на тарелку. Солнце стояло низко — был уже седьмой час вечера — и в широких косых лучах, которыми оно затопляло весь маленький садик г-жи Розелли, было больше багрянца, чем золота. Изредка, чуть слышно и словно не спеша, перешептывались листья, да отрывисто жужжали, перелетывая с цветка на соседний цветок, запоздалые пчелы, да где-то ворковала горлинка — однообразно и неутомимо.

На Джемме была та же круглая шляпа, в которой она ездила в Соден. Она глянула на Санина из-под ее выгнутого края и снова наклонилась к корзинке.

Санин приблизился к Джемме, невольно укорачивая каждый шаг, и... и... И ничего другого не нашелся сказать ей, как только спросить: зачем это она отбирает вишни?

Джемма не тотчас отвечала ему.

— Эти — поспелее, — промолвила она наконец, — пойдут на варенье, а те на начинку пирогов. Знаете, мы продаем такие круглые пироги с сахаром.

Сказав эти слова, Джемма еще ниже наклонила голову, и правая ее рука, с двумя вишнями в пальцах, остановилась на воздухе между корзинкой и тарелкой.

— Можно подсесть к вам? — спросил Санин.

— Можно. — Джемма слегка подвинулась на скамейке. Санин поместился возле нее. «Как начать?» — думалось ему. Но Джемма вывела его из затруднения.

— Вы дрались сегодня на дуэли, — заговорила она с живостью и обернулась к нему всем своим прекрасным, стыдливо вспыхнувшим лицом, — а какой глубокой благодарностью светились ее глаза! — И вы так спокойны? Стало быть, для вас не существует опасности?

— Помилуйте! Я никакой опасности не подвергался. Всё обошлось очень благополучно и безобидно.

Джемма повела пальцем направо и налево перед глазами... Тоже итальянский жест.

— Нет! нет! не говорите этого! Вы меня не обманете! Мне Пантелеоне всё сказал!

— Нашли кому верить! Сравнивал он меня с статуей командора?

— Выражения его могут быть смешны, но ни чувство его не смешно, ни то, что вы сделали сегодня. И всё это из-за меня... для меня... Я этого никогда не забуду.

— Уверяю вас, фрейлейн Джемма...

— Я этого не забуду, — с расстановкой повторила она, еще раз пристально посмотрела на него и отвернулась.

Он мог теперь видеть ее тонкий, чистый профиль, и ему казалось, что он никогда не видывал ничего подобного и не испытывал ничего подобного тому, что он чувствовал в этот миг. Душа его разгоралась.

«А мое обещание!» — мелькнуло у него в мыслях.

— Фрейлейн Джемма... — начал он после мгновенного колебания.

— Что?

Она не повернулась к нему, она продолжала разбирать вишни, осторожно бралась концами пальцев за их хвостики, заботливо приподнимала листочки... Но какой доверчивой лаской прозвучало это одно слово: «что!»

— Вам ваша матушка ничего не сообщала... насчет...

— Насчет?

— На мой счет?

Джемма вдруг отбросила назад в корзину взятые ею вишни.

— Она говорила с вами? — спросила она в свою очередь.

Да.

— Что же она вам такое сказала?

— Она сказала мне, что вы... что вы внезапно решились переменить... свои прежние намерения.

Голова Джеммы опять наклонилась. Она вся исчезла под шляпой; виднелась только шея, гибкая и нежная, как стебель крупного цветка.

— Какие намерения?

— Ваши намерения... касательно... будущего устройства вашей жизни.

— То есть... Вы это говорите... о г-не Клюбере?

— Да.

— Вам мама сказала, что я не желаю быть женою г-на Клюбера?

— Да.

Джемма подвинулась на скамейке. Корзина накренилась, упала... несколько вишен покатилось на дорожку. Прошла минута... другая...

— Зачем она вам это сказала? — послышался ее голос.

Санин по-прежнему видел одну шею Джеммы. Грудь ее поднималась и опускалась быстрее прежнего.

— Зачем? Ваша матушка подумала, что так как мы с вами в короткое время, можно сказать, подружились, и вы возымели некоторое доверие ко мне, то я в состоянии подать вам полезный совет — и вы меня послушаетесь.

Руки Джеммы тихонько соскользнули на колени... Она принялась перебирать складки своего платья.

— Какой же вы мне совет дадите, monsieur Dimitri? — спросила она погодя немного.

Санин увидал, что пальцы Джеммы дрожали на ее коленях... Она и складки платья перебирала только для того, чтобы скрыть эту дрожь. Он тихонько положил свою руку на эти бледные, трепетные пальцы.

— Джемма, — промолвил он, — отчего вы не смотрите на меня?

Она мгновенно отбросила назад через плечо свою шляпу — и устремила на него глаза, доверчивые и благодарные по-прежнему. Она ждала, что он заговорит... Но вид ее лица смутил и словно ослепил его. Теплый блеск вечернего солнца озарял ее молодую голову — и выражение этой головы было светлее и ярче самого этого блеска.

— Я вас послушаюсь, monsieur Dimitri, — начала она, чуть-чуть улыбаясь и чуть-чуть приподнимая брови, — но какой же совет дадите вы мне?

— Какой совет? — повторил Санин. — Вот видите ли, ваша матушка полагает, что отказать г-ну Клюберу только потому, что он третьего дня не выказал особенной храбрости...

— Только потому? — проговорила Джемма, нагнулась, подняла корзину и поставила ее возле себя на скамейку.

— Что... вообще... отказать ему, с вашей стороны — неблагоразумно; что это — такой шаг, все последствия которого нужно хорошенько взвесить; что, наконец, самое положение ваших дел налагает известные обязанности на каждого члена вашего семейства...

— Это всё — мнение мамы, — перебила Джемма, — это ее слова. Это я знаю; но ваше какое мнение?

— Мое? — Санин помолчал. Он чувствовал, что-то подступило к нему под горло и захватывало дыхание. — Я тоже полагаю, — начал он с усилием...

Джемма выпрямилась.

— Тоже? Вы — тоже?

— Да... то есть... — Санин не мог, решительно не мог прибавить ни единого слова.

— Хорошо, — сказала Джемма. — Если вы, как друг, советуете мне изменить мое решение... то есть не менять моего прежнего решения, — я подумаю. — Она, сама не замечая, что делает, начала перекладывать вишни обратно из тарелки в корзину... — Мама надеется, что я вас послушаюсь... Что ж? Я, быть может, точно послушаюсь вас.

— Но позвольте, фрейлейн Джемма, я сперва желал бы узнать, какие причины побудили вас...

— Я вас послушаюсь, — повторила Джемма, а у самой брови всё надвигались, щеки бледнели; она покусывала нижнюю губу. — Вы так много для меня сделали, что и я обязана сделать, что вы хотите; обязана исполнить ваше желание. Я скажу маме... я подумаю. Вот она, кстати, идет сюда.

Действительно: фрау Леноре показалась на пороге двери, ведущей из дома в сад. Нетерпение ее разбирало: она не могла усидеть на месте. По ее расчету, Санин давным-давно должен был окончить свое объяснение с Джеммой, хотя его беседа с нею не продолжалась и четверти часа.

— Нет, нет, нет, ради бога, не говорите ей пока ничего, — то-

ропливо, почти с испугом произнес Санин. — Подождите... я вам скажу, я вам напишу... а вы до тех пор не решайтесь ни на что... подождите!

Он стиснул руку Джеммы, вскочил со скамейки — и, к великому изумлению фрау Леноры, прошмыгнул мимо ее, приподняв шляпу, пробурчал что-то невнятное — и скрылся.

Она подошла к дочери.

— Скажи мне, пожалуйста, Джемма...

Та вдруг поднялась и обняла ее.

— Милая мама, можете вы подождать немножко, крошечку... до завтрашнего дня? Можете? И с тем, чтобы уж до завтра ни слова?.. Ах!..

Она залилась внезапными светлыми, для нее самой неожиданными слезами. Это тем более удивило фрау Леноре, что выражение Джеммина лица было далёко не печальное, скорее радостное.

— Что с тобой? — спросила. она. — Ты у меня никогда не плачешь — и вдруг...

— Ничего, мама, ничего! только вы подождите. Нам обеим надо подождать. Не спрашивайте ничего до завтра — и давайте разбирать вишни, пока солнце не село.

— Но ты будешь благоразумна?

— О, я очень благоразумна! — Джемма значительно покачала головою. Она начала связывать небольшие пучки вишен, держа их высоко перед краснеющим лицом. Слез своих она не утирала: они высохли сами.

Xxv

Чуть не бегом возвратился Санин в свою квартиру. Он чувствовал, он сознавал, что только там, только наедине с самим собою, ему выяснится наконец, что́ с ним, что́ с ним такое? И действительно: не успел он войти в свою комнату, не успел сесть перед письменным столом, как, облокотясь об этот самый стол обеими руками и прижав обе ладони к лицу, — он горестно и глухо воскликнул: «Я ее люблю, люблю безумно!» — и весь внутренно зарделся, как уголь, с которого внезапно сдули наросший слой мертвого пепла. Мгновение... и уже он не в силах был понять, как он мог сидеть рядом с нею... с нею! — и разговаривать с нею, и не чувствовать, что он обожает самый край ее одежды, что он готов, как выражаются молодые люди, «умереть у ее ног». Последнее свидание в саду всё решило. Теперь, когда он думал о ней, — она уже не представлялась ему с развеянными кудрями, в сиянии звезд, — он видел ее сидящей на скамейке, видел, как она разом сбрасывает с себя шляпу и глядит на него так доверчиво... и трепет и жажда любви перебегали по всем его жилам. Он вспомнил о розе, которую вот уже третий день носил у себя в кармане: он выхватил ее и с такой лихорадочной силой прижал ее к своим губам, что невольно поморщился от боли. Теперь уже он ни о чем не рассуждал, ничего не соображал, не рассчитывал и не предвидел; он отделился от всего прошлого, он прыгнул вперед: с унылого берега своей одинокой, холостой жизни бухнулся он в тот веселый, кипучий, могучий поток — и горя ему мало, и знать он не хочет, куда он его вынесет, и не разобьет ли он его о скалу! Это уже не те тихие струи ландовского романса, которые недавно его баюкали... Это сильные, неудержимые волны! Они летят и скачут вперед — и он летит с ними.

Он взял лист бумаги — и без помарки, почти одним взмахом пера, написал следующее:

«Милая Джемма!

Вы знаете, какой совет я взял на себя преподать вам, вы знаете, чего желает ваша матушка и о чем она меня просила, — но чего вы не знаете и что я обязан вам теперь сказать, — это то, что я люблю вас, люблю со всею страстью сердца, полюбившего в первый раз! Этот огонь вспыхнул во мне внезапно, но с такой силой, что я не нахожу слов!! Когда ваша матушка пришла ко мне и просила меня — он еще только тлел во мне — а то я, как честный человек, наверное бы отказался исполнить ее поручение... Самое признание, которое я вам теперь делаю, есть признание честного человека. Вы должны знать, с кем имеете дело, — между нами не должно существовать недоразумений. Вы видите, что я не могу давать вам никаких советов... Я вас люблю, люблю, люблю — и больше нет у меня ничего — ни в уме, ни в сердце!!

Дм. Санин».

Сложив и запечатав эту записку, Санин хотел было позвонить кельнера и послать ее с ним... Нет! этак неловко... Через Эмиля? Но отправиться в магазин, отыскивать его там между другими комми — неловко тоже. Притом уже ночь на дворе — и он, пожалуй, уже ушел из магазина. Размышляя таким образом, Санин, однако, надел шляпу и вышел на улицу; повернул за угол, за другой — и, к неописанной своей радости, увидал перед собою Эмиля. С сумкой под мышкой, со свертком бумаги в руке, молодой энтузиаст спешил домой.

«Недаром говорят, что у каждого влюбленного есть звезда», — подумал Санин и позвал Эмиля.

Тот обернулся и тотчас бросился к нему.

Санин не дал ему восторгаться, вручил ему записку, объяснил ему, кому и как ее передать... Эмиль слушал внимательно.

— Чтобы никто не видел? — спросил он, придав своему лицу выражение знаменательное и таинственное: мы, дескать, понимаем, в чем вся суть!

— Да, мой дружок, — проговорил Санин и немножко сконфузился, однако потрепал Эмиля по щеке... — И если ответ будет... Вы мне принесете ответ, не правда ли? Я буду сидеть дома.

— Уж об этом не беспокойтесь! — весело шепнул Эмиль, побежал прочь и на бегу еще раз кивнул ему.

Санин вернулся домой — и, не зажигая свечи, бросился на диван, занес руки за голову и предался тем ощущениям только что сознанной любви, которые и описывать нечего: кто их испытал, тот знает их томление и сладость; кто их не испытал — тому их не растолкуешь.

Дверь растворилась — показалась голова Эмиля.

— Принес, — сказал он шёпотом, — вот он, ответ-то! Он показал и поднял над головою свернутую бумажку. Санин вскочил с дивана и выхватил ее из рук Эмиля. Страсть в нем слишком сильно разыгралась: не до скрытности было ему теперь, не до соблюдения приличия — даже перед этим мальчиком, ее братом. Он бы посовестился его, он бы принудил себя — если б мог!

Он подошел к окну — и при свете уличного фонаря, стоявшего перед самым домом, прочел следующие строки:

> «Я вас прошу, я умоляю вас — *целый завтрашний день не приходить к нам, не показываться.* Мне это нужно, непременно нужно — а там всё будет решено. Я знаю, вы мне не откажете, потому что...
>
> Джемма».

Санин два раза прочел эту записку — о, как трогательно мил и красив показался ему ее почерк! — подумал немного и, обратившись к Эмилю, который, желая дать понять, какой он скромный молодой человек, стоял лицом к стене и колупал в ней ногтем, — громко назвал его по имени.

Эмиль тотчас подбежал к Санину.

— Что прикажете?

— Послушайте, дружок...

— М-г Димитрий, — перебил его Эмиль жалобным голосом, — отчего вы не говорите мне: ты?

Санин засмеялся.

— Ну, хорошо. Послушай, дружок (Эмиль слегка подпрыгнул от удовольствия), — послушай: *там,* ты понимаешь, там ты скажешь, что всё будет исполнено в точности (Эмиль сжал губы и важно качнул головою), — а сам... Что ты делаешь завтра?

— Я? Что я делаю? Что вы хотите, чтобы я делал?

— Если тебе можно, приходи ко мне поутру, пораньше, — и мы до вечера будем гулять по окрестностям Франкфурта... Хочешь?

Эмиль опять подпрыгнул.

— Помилуйте, что может быть на свете лучше? Гулять с вами — да это просто чудо! Приду непременно!

— А если тебя не отпустят?

— Отпустят!

— Слушай... Не сказывай *там,* что я тебя звал на целый день.

— Зачем сказывать? Да я так уйду! Что за беда!

Эмиль крепко поцеловал Санина и убежал.

А Санин долго ходил по комнате и поздно лег спать. Он предался тем же жутким и сладким ощущениям, тому же радостному замиранию перед новой жизнью. Санин был очень доволен тем, что возымел мысль пригласить на завтрашний день Эмиля; он походил лицом на сестру. «Будет напоминать ее», — думалось Санину.

Но больше всего удивлялся он тому: как мог он вчера быть иначе, чем сегодня? Ему казалось, что он «вечно» любил Джемму — и именно так точно ее любил, как он любил ее сегодня.

Xxvi

На другой день, в восемь часов утра, Эмиль, с Тартальей на сворке, отъявился к Санину. Происходи он от германских родителей, он бы не мог выказать большую аккуратность. Дома он солгал: сказал, что погуляет с Саниным до завтрака, а потом отправится в магазин. Пока Санин одевался, Эмиль заговорил было с ним, правда, довольно нерешительно, о Джемме, об ее размолвке с г-м Клюбером; но Санин сурово промолчал ему в ответ, а Эмиль, показав вид, что понимает, почему не следует слегка касаться этого важного пункта, уже не возвращался к нему — и только изредка принимал сосредоточенное и даже строгое выражение.

Напившись кофе, оба приятеля отправились — пешком, разумеется, — в Гаузен, небольшую деревеньку, лежащую в недальнем расстоянии от Франкфурта и окруженную лесами. Вся цепь гор Таунуса видна оттуда, как на ладони. Погода была прекрасная; солнце сияло и грело, но не пекло; свежий ветер бойко шумел в зеленых листьях; по земле, небольшими пятнами, плавно и быстро скользили тени высоких круглых облачков. Молодые люди скоро выбрались из города и бодро и весело зашагали по гладко выметенной дороге. Зашли в лес и долго там проплутали; потом очень плотно позавтракали в деревенском трактире; потом лазали на горы, любовались видами, пускали сверху камни и хлопали в ладоши, глядя, как эти камни забавно и странно сигают, наподобие кроликов, пока проходивший внизу, невидимый для них, человек не выбранил их звонким и сильным голосом; потом лежали, раскинувшись, на коротком сухом мохе желто-фиолетового цвета; потом пили пиво в другом трактире, потом бегали взапуски, прыгали на пари: кто дальше? Открыли эхо и беседовали с ним, пели, аукались, боролись, ломали сучья, украшали свои шляпы ветками папорот-

ника и даже танцевали. Тарталья, насколько мог и умел, участвовал во всех этих занятиях: камней он, правда, не бросал, но сам кубарем катился за ними, подвывал, когда молодые люди пели, и даже пиво пил, хотя с видимым отвращением: этому искусству его выучил студент, которому он некогда принадлежал. Впрочем, Эмиля он слушался плохо — не то, что своего хозяина Панталеоне, и когда Эмиль приказывал ему «говорить» или «читать», — только хвостиком повиливал и высовывал язык трубочкой.

Молодые люди также беседовали между собою. В начале прогулки Санин, как старший и потому более рассудительный, завел было речь о том, что такое фатум, или предопределение судьбы, и что значит и в чем состоит призвание человека; но разговор вскорости принял направление менее серьезное. Эмиль стал расспрашивать своего друга и патрона о России, о том, как там дерутся на дуэли, и красивы ли там женщины, и скоро ли можно выучиться русскому языку, и что он почувствовал, когда офицер целился в него? А Санин в свою очередь расспрашивал Эмиля об его отце, о матери, вообще об их семейных делах, всячески стараясь не упоминать имени Джеммы — и думая только о ней. Собственно говоря, он даже о ней не думал — а о завтрашнем дне, о том таинственном завтрашнем дне, который принесет ему неведомое, небывалое счастье! Точно завеса, тонкая, легкая завеса висит, слабо колыхаясь, перед его умственным взором, — и за той завесой он чувствует... чувствует присутствие молодого, неподвижного, божественного лика с ласковой улыбкой на устах и строго, притворно-строго опущенными ресницами. И этот лик — не лицо Джеммы, это лицо самого счастья! И вот настал наконец *его* час, завеса взвилась, открываются уста, ресницы поднимаются — увидало его божество — и тут уже свет, как от солнца, и радость, и восторг нескончаемый!! Он думает об этом завтрашнем: дне — и душа его опять радостно замирает в млеющей тоске беспрестанно возрождающегося ожидания!

И ничему не мешает это ожидание, эта тоска. Она сопровождает каждое его движение и ничему не мешает. Не мешает она ему отлично пообедать в третьем трактире с Эмилем — и только изредка, как короткая молния, вспыхивает в нем мысль, что — если б кто-нибудь на свете знал??!! Не мешает ему эта тоска играть после обеда с Эмилем в чехарду. На привольном зеленом лужку происходит эта игра... и каково изумление, каков конфуз Санина, когда, под ярый лай Тартальи, ловко растопырив ноги и перелетая птицей через прикорнувшего Эмиля, — он внезапно видит перед

собою, на самой кайме зеленого лужка, двух офицеров, в которых он немедленно узнает своего вчерашнего противника и его секунданта, г-д фон Дёнгофа и фон Рихтера! Каждый из них вставил по стеклышку в глаз и глядит на него и ухмыляется... Санин падает на ноги, отворачивается, поспешно надевает сброшенное пальто, говорит отрывистое слово Эмилю, тот тоже надевает куртку — и оба немедленно удаляются.

Поздно вернулись они во Франкфурт.

— Будут меня бранить, — говорил Санину Эмиль, прощаясь с ним, — ну да всё равно! Зато я такой чудный, чудный день провел!

Вернувшись к себе в гостиницу, Санин нашел записку от Джеммы. Она назначала ему свидание — на следующий день, в семь часов утра, в одном из публичных садов, со всех сторон окружающих Франкфурт.

Как дрогнуло его сердце! Как рад он был тому, что так беспрекословно ей повиновался! И, боже мой, что сулил... чего не сулил этот небывалый, единственный, невозможный — и несомненный завтрашний день!

Он впился глазами в записку Джеммы. Длинный изящный хвостик буквы G, первой буквы ее имени, стоявшей на конце листа, напомнил ему ее красивые пальцы, ее руку... Он подумал, что ни разу не прикоснулся к этой руке губами...

«Итальянки, — думал он, — вопреки молве о них, стыдливы и строги... А уж Джемма и подавно! Царица... богиня... мрамор девственный и чистый...

Но придет время — и оно недалеко...»

Был в ту ночь во Франкфурте один счастливый человек... Он спал; но он мог сказать про себя словами поэта:

Я сплю... но сердце чуткое не спит...

Оно и билось так легко, как бьет крылами мотылек, приникший к цветку и облитый летним, солнцем.

Xxvii

В пять часов Санин проснулся, в шесть уже был одет, в половине седьмого расхаживал по публичному саду, в виду небольшой беседки, о которой Джемма упомянула в своей записке.

Утро было тихое, теплое, серое. Иногда казалось, что вот-вот пойдет дождь; но протянутая рука ничего не ощущала, и только глядя на рукав платья, можно было заметить следы крохотных, как мельчайший бисер, капель; но и те скоро прекратились. Ветра — точно на свете никогда не бывало. Каждый звук не летел, а разливался кругом; в отдалении чуть сгущался беловатый пар, в воздухе пахло резедой и цветами белых акаций.

На улицах еще не открывались лавки, но уже показались пешеходы; изредка стучала одинокая карета... В саду гулявших не было. Садовник скоблил, не торопясь, дорожку лопатой, да дряхлая старушонка в черном суконном плаще проковыляла через аллею. Ни на одно мгновение не мог Санин принять это убогое существо за Джемму — и, однако же, сердце в нем ёкнуло, и он внимательно следил глазами за удалявшимся черным пятном.

Семь! прогудели часы на башне.

Санин остановился. Неужели она не придет? Трепет холода внезапно пробежал по его членам. Тот же трепет повторился в нем мгновенье спустя, но уже от другой причины. Санин услышал за собою легкие шаги, легкий шум женской одежды... Он обернулся: она!

Джемма шла сзади его по дорожке. На ней была серенькая мантилья и небольшая темная шляпа. Она глянула на Санина, повернула голову в сторону — и, поравнявшись с ним, быстро прошла мимо.

— Джемма, — проговорил он едва слышно. Она слегка кивнула

ему — и продолжала идти вперед. Он последовал за нею.

Он дышал прерывисто. Ноги плохо его слушались.

Джемма миновала беседку, взяла направо, миновала небольшой плоский бассейн, в котором хлопотливо плескался воробей, и, зайдя за клумбу высоких сиреней, опустилась на скамью. Место было уютное и закрытое. Санин сел возле нее.

Прошла минута — и ни он, ни она слова не промолвили; она даже не глядела на него — и он глядел ей не в лицо, а на сложенные руки, в которых она держала маленький зонтик. Что было говорить? Что было сказать такого, что по значению своему могло бы равняться одному их присутствию здесь, вместе, наедине, так рано, так близко друг от друга?

— Вы... на меня не сердитесь? — произнес наконец Санин.

Трудно было Санину сказать что-нибудь глупее этих слов... он сам это сознавал... Но по крайней мере молчание было нарушено.

— Я? — отвечала она. — За что? Нет.

— И вы верите мне? — продолжал он.

— Тому, что вы написали?

— Да.

Джемма опустила голову и ничего не промолвила. Зонтик выскользнул из ее рук. Она поспешно поймала его, прежде чем он упал на дорожку.

— Ах, верьте мне, верьте тому, что я писал вам, — воскликнул Санин; вся робость его вдруг исчезла — он заговорил с жаром. — Если есть на земле правда, святая, несомненная правда, — так это то, что я люблю вас, люблю вас страстно, Джемма!

Она бросила на него косвенный, мгновенный взгляд — и опять чуть не уронила зонтик.

— Верьте мне, верьте мне, — твердил он. Он умолял ее, протягивал к ней руки и не смел коснуться ее. — Что вы хотите, чтобы я сделал... чтоб убедить вас?

Она опять глянула на него.

— Скажите, monsieur Dimitri, — начала она, — третьего дня, когда вы пришли меня уговаривать, — вы, стало быть, еще не знали... не чувствовали...

— Я чувствовал, — подхватил Санин, — но не знал. Я полюбил вас с самого того мгновенья, как я вас увидел, — но не тотчас понял, чем вы стали для меня! К тому же я услыхал, что вы обрученная невеста... Что же касается до поручения вашей матушки, — то, во-первых, как бы я мог отказаться? а, во-вторых, — я, кажется, *так* передал вам это поручение, что вы могли догадаться...

Послышались тяжелые шаги, и довольно плотный господин, с саквояжем через плечо, очевидно иностранец, выдвинулся из-за клумбы — и, с бесцеремонностью заезжего путешественника окинув взором сидевшую на скамейке парочку, громко кашлянул и прошел далее.

— Ваша матушка, — заговорил Санин, как только стук тяжелых ног затих, — сказала мне, что ваш отказ произведет скандал (Джемма чуть-чуть нахмурилась); что я отчасти сам подал повод к неблаговидным толкам и что... следовательно... на мне — до некоторой степени — лежала обязанность уговорить вас не отказывать вашему жениху, г-ну Клюберу...

— Monsieur Dimitri, — промолвила Джемма и провела рукой по волосам со стороны, обращенной к Санину, — не называйте, пожалуйста, г-на Клюбера моим женихом. Я не буду его женой никогда. Я ему отказала.

— Вы ему отказали? Когда?

— Вчера.

— Ему самому?

— Ему самому. У нас в доме. Он приходил к нам.

— Джемма! Стало быть, вы любите меня?

Она обернулась к нему.

— Иначе... разве бы я пришла сюда? — шепнула она, и обе ее руки упали на скамью.

Санин схватил эти бессильные, ладонями кверху лежавшие руки — и прижал их к своим глазам, к своим губам... Вот когда взвилась та завеса, которая мерещилась ему накануне! Вот оно, счастье, вот его лучезарный лик!

Он приподнял голову и посмотрел на Джемму — прямо и смело. Она тоже смотрела на него — несколько сверху вниз. Взор ее полузакрытых глаз едва мерцал, залитый легкими, блаженными слезами. А лицо не улыбалось... нет! оно смеялось, тоже блаженным, хотя беззвучный смехом.

Он хотел привлечь ее к себе на грудь, но она отклонилась и, не переставая смеяться тем же беззвучным смехом, отрицательно покачала головою. «Подожди», — казалось, говорили ее счастливые глаза.

— О, Джемма! — воскликнул Санин, — мог ли я думать, что ты (сердце в нем затрепетало, как струна, когда его губы в первый раз произнесли это «ты») — что ты меня полюбишь!

— Я сама не ожидала этого, — тихо проговорила Джемма.

— Мог ли я думать, — продолжал Санин, — мог ли я думать,

подъезжая к Франкфурту, где я полагал остаться всего несколько часов, что я здесь найду счастье всей моей жизни!

— Всей жизни? Точно? — спросила Джемма.

— Всей жизни, навек и навсегда! — воскликнул Санин с новым порывом.

Лопата садовника внезапно заскребла в двух шагах от скамейки, на которой они сидели.

— Пойдем домой, — шепнула Джемма, — пойдем вместе — хочешь?

Если б она сказала ему в это мгновенье: «Бросься в море — *хочешь?*» — она не договорила бы последнего слова, как уж он бы летел стремглав в бездну.

Они вместе вышли из саду и направились к дому, не городскими улицами, а предместьем.

Xxviii

Санин шел то рядом с Джеммой, то несколько позади ее, не спускал с нее глаз и не переставал улыбаться. А она как будто спешила... как будто останавливалась. Правду сказать, оба они, он весь бледный, она вся розовая от волнения, подвигались вперед, как отуманенные. То, что они сделали вдвоем несколько мгновений тому назад — это отдание своей души другой душе, — было так сильно, и ново, и жутко; так внезапно всё в их жизни переставилось и переменилось, что они оба не могли опомниться и только сознавали подхвативший их вихорь, подобный тому ночному вихрю, который чуть-чуть не бросил их в объятия друг другу. Санин шел и чувствовал, что он даже иначе глядит на Джемму: он мгновенно заметил несколько особенностей в ее походке, в ее движениях, — и, боже мой! как они были ему бесконечно дороги и милы! И она чувствовала, что он *так* на нее глядит.

Санин и она — полюбили в первый раз; все чудеса первой любви совершались над ними. Первая любовь — та же революция: однообразно-правильный строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно мгновенье, молодость стоит на баррикаде, высоко вьется ее яркое знамя, и что бы там впереди ее ни ждало — смерть или новая жизнь, — всему она шлет свой восторженный привет.

— Что? это никак наш старик? — промолвил Санин, указывая пальцем на закутанную фигуру, которая поспешно пробиралась сторонкой, как бы стараясь остаться незамеченной. Среди избытка блаженства он ощущал потребность говорить с Джеммой не о любви — то было дело решенное, святое, — а о чем-нибудь другом.

— Да, это Панталеоне, — весело и счастливо отвечала Джемма. — Он, наверное, вышел из дому по моим пятам; он уже вчера целый день следил за каждым моим шагом... Он догадывается!

— Он догадывается! — с восхищением повторил Санин. Что бы такое могла сказать Джемма, от чего он не пришел бы в восхищение?

Потом он попросил ее рассказать подробно всё, что именно произошло накануне.

И она немедленно начала рассказывать, спеша, путаясь, улыбаясь, вздыхая короткими вздохами и меняясь с Саниным короткими светлыми взглядами. Она рассказала ему, как, после третьегодняшнего разговора, мама всё хотела добиться от нее, Джеммы, чего-нибудь положительного; как она отделалась от фрау Леноры обещанием сообщить свое решение в течение суток; как она выпросила себе этот срок — и как это было трудно; как совершенно неожиданно явился г-н Клюбер, более чопорный и накрахмаленный, чем когда-либо; как он изъявил свое негодование по поводу мальчишески-непростительной и для него, Клюбера, глубоко оскорбительной (так именно он выразился) выходки русского незнакомца — он разумел *твою* дуэль — и как он потребовал, чтобы *тебе* немедленно отказали от дому. «Потому, — прибавил он, — и тут Джемма слегка передразнила его голос и манеру, — это бросает тень на мою честь; как будто я не сумел бы заступиться за свою невесту, если б нашел это необходимым или полезным! Весь Франкфурт завтра узнает, что чужой дрался с офицером за мою невесту, — на что это похоже? Это марает мою честь!» Мама с ним соглашалась — представь! — но тут я ему вдруг объявила, что он напрасно беспокоится о своей чести и о своей персоне, напрасно оскорбляется толками о своей *невесте* — потому что я больше ему не невеста, и никогда его женой не буду! Признаться, я хотела было сперва поговорить с вами... с тобою, прежде чем отказать ему окончательно; но он пришел... и я не могла удержаться. Мама даже закричала от испуга, а я вышла в другую комнату и принесла ему его кольцо — ты не заметил, я уже два дня тому назад сняла это кольцо — и отдала ему. Он ужасно обиделся; но так как он ужасно самолюбив и чванлив, то он не стал много разговаривать — и ушел. Разумеется, мне пришлось много вытерпеть от мамы, и очень мне было больно видеть, как она огорчалась, — и думала я, что я немножко поторопилась; но ведь у меня была твоя записка — и я без того уже знала...

— Что я тебя люблю, — подхватил Санин.

— Да... что ты полюбил меня.

Так говорила Джемма, путаясь и улыбаясь, и понижая всякий раз голос или вовсе умолкая, когда кто-нибудь шел ей навстречу

или проходил мимо. А Санин слушал восторженно, наслаждаясь самым звуком ее голоса, как накануне он любовался ее почерком.

— Мама чрезвычайно огорчена, — начала снова Джемма, — и слова ее быстро-быстро бежали одно за другим, — она никак не хочет взять в соображение то, что г-н Клюбер мог мне опротиветь, что я и выходила-то за него не по любви, а вследствие ее усиленных просьб... Она подозревает... вас... тебя; то есть, прямо говоря, она уверена, что я тебя полюбила, — и это ей тем больнее, что еще третьего дня ей ничего подобного в голову не приходило, и она даже поручала тебе меня уговаривать... А странное это было поручение — не правда ли? Теперь она тебя... вас величает хитрецом, лукавым человеком, говорит, что вы обманули ее доверие, и предсказывает мне, что меня вы обманете...

— Но, Джемма, — воскликнул Санин, — разве ты ей не сказала...

— Я ничего не сказала! Какое я имела право, не переговоривши с вами?

Санин всплеснул руками.

— Джемма, я надеюсь, что теперь по крайней мере ты во всем ей сознаешься, ты приведешь меня к ней... Я хочу Доказать твоей матушке, что я не обманщик!

Грудь Санина так и вздымалась от прилива великодушных и пламенных чувств!

Джемма глянула на него во все глаза.

— Вы точно хотите идти теперь к маме со мною? к маме, которая уверяет, что... что всё это между нами невозможно — и никогда сбыться не может?

Было одно слово, которое Джемма не решалась выговорить... Оно жгло ей губы; но тем охотнее произнес его Санин.

— Вступить с тобою в брак, Джемма, быть твоим мужем — я выше блаженства не знаю!

Ни любви своей, ни своему великодушию, ни решимости своей он уже не знал никаких пределов.

Услышав эти слова, Джемма, которая остановилась было на мгновенье, пошла еще скорее... Она как будто хотела убежать от этого слишком великого и нежданного счастья!

Но вдруг у ней ноги подкосились. Из-за угла переулка, в нескольких шагах от нее, в новой шляпе и новой бекеше, прямой, как стрела, завитый, как пудель, появился г-н Клюбер. Он увидал Джемму, увидал Санина — и, как-то внутренно фыркнув и перегнув назад свой гибкий стан, щегольски пошел им навстречу.

Санина покоробило; но, взглянув на клюберовское лицо, которому владелец его, насколько в нем хватало уменья, тщился придать выражение презрительного изумления и даже соболезнования, — взглянув на это румяное, пошлое лицо, он внезапно почувствовал прилив гнева — и шагнул вперед.

Джемма схватила его руку и, с спокойной решительностью подав ему свою, посмотрела прямо в лицо своему бывшему жениху... Тот прищурился, съежился, вильнул в сторону и, пробормотав сквозь зубы: «Обычный конец песенки!» (Das alte Ende vom Liede!) — удалился той же щегольской, слегка подпрыгивающей походкой.

— Что он сказал, негодяй? — спросил Санин и хотел было броситься вслед за Клюбером; но Джемма его удержала и пошла с ним дальше, уже не принимая руки, продетой в его руку.

Кондитерская Розелли показалась впереди. Джемма еще раз остановилась.

— Dimitri, monsieur Dimitri, — сказала она, — мы еще не вошли туда, мы еще не видели мамы... Если вы хотите еще подумать, если... вы еще свободны, Димитрий.

В ответ ей Санин крепко-крепко притиснул ее руку к своей груди и повлек ее вперед.

— Мама, — сказала Джемма, входя с Саниным в комнату, где сидела фрау Леноре, — я привела настоящего!

Xxix

Если бы Джемма объявила, что привела с собою холеру или самую смерть, фрау Леноре, должно полагать, не могла бы с большим отчаянием принять это известие. Она немедленно села в угол, лицом к стене, — и залилась слезами, почти заголосила, ни дать ни взять русская крестьянка над гробом мужа или сына. На первых порах Джемма до того смутилась, что даже не подошла к матери — и остановилась, как статуя, посреди комнаты; а Санин совсем потерялся — хоть самому удариться в слезы! Целый час продолжался этот безутешный плач, целый час! Панталеоне почел за лучшее запереть наружную дверь кондитерской, как бы кто чужой не вошел — благо, пора стояла ранняя. Старик сам чувствовал недоумение — и во всяком случае не одобрял поспешности, с которой поступили Джемма и Санин, а, впрочем, осуждать их не решался и готов был оказать им покровительство — в случае нужды: уж очень не любил он Клюбера! Эмиль считал себя посредником между своим другом и сестрой — и чуть не гордился тем, что как это всё превосходно удалось! Он никак не в состоянии был понять, чего фрау Леноре так убивается, и в сердце своем он тут же решил, что женщины, даже самые лучшие, страдают отсутствием сообразительной способности! Санину приходилось хуже всех. Фрау Леноре поднимала вопль и отмахивалась руками, как только он приближался к ней, — и напрасно он попытался, стоя в отдалении, несколько раз громко воскликнуть: «Прошу руки вашей дочери!» Фрау Леноре особенно досадовала на себя за то, что «как могла она быть до того слепою — и ничего не видеть!» «Был бы мой ДжиованБаттиста жив, — твердила она сквозь слезы, — ничего бы этого не случилось!» — «Господи, что же это такое? — думал Санин, — ведь это глупо наконец!» Ни сам он не смел взглянуть на Джемму, ни она не

решалась поднять на него глаза. Она ограничивалась тем, что терпеливо ухаживала за матерью, которая сначала и ее отталкивала...

Наконец, мало-помалу буря утихла. Фрау Леноре перестала плакать, дозволила Джемме вывести ее из угла, куда она забилась, усадить ее в кресло возле окна и дать ей напиться воды с флёр-доранжем; дозволила Санину — не приблизиться... о нет! — но по крайней мере остаться в комнате (прежде она всё требовала, чтобы он удалился) и не перебивала его, когда он говорил. Санин немедленно воспользовался наступившим штилем — и выказал красноречие изумительное: едва ли бы сумел он с таким жаром и с такой убедительностью изложить свои намерения и свои чувства перед самой Джеммой. Эти чувства были самые искренние, эти намерения — самые чистые, как у Альмавивы в «Севильском цирюльнике». Он не скрывал ни от фрау Леноры, ни от самого себя невыгодной стороны этих намерений; но эти невыгоды были только кажущиеся! Правда: он чужестранец, с ним недавно познакомились, не знают ничего положительного ни об его личности, ни об его средствах; но он готов привести все нужные доказательства того, что он человек порядочный и не бедный; он сошлется на самые несомненные свидетельства своих соотчичей! Он надеется, что Джемма будет счастлива с ним и что он сумеет усладить ей разлуку с родными!.. Упоминовение разлуки — одно это слово «разлука» — чуть было не испортило всего дела... Фрау Леноре так и затрепетала вся и заметалась... Санин поспешил заметить, что разлука будет только временная — и что, наконец, быть может, ее не будет вовсе!

Красноречие Санина не пропало даром. Фрау Леноре начала взглядывать на него, хотя всё еще с горестью и упреком, но уже не с прежним отвращением и гневом; потом она позволила ему подойти и даже сесть возле нее (Джемма сидела по другую сторону); потом она стала упрекать его — не одними взорами, но словами, что уже означало некоторое смягчение ее сердца; она стала жаловаться, и жалобы ее становились всё тише и мягче; они чередовались вопросами, обращенными то к дочери, то к Санину; потом она позволила ему взять ее за руку и не тотчас отняла ее... потом она заплакала опять — но уже совсем другими слезами... потом она грустно улыбнулась и пожалела об отсутствии ДжиованБаттиста, но уже в другом смысле, чем прежде ... Прошло еще мгновенье — и оба преступника, Санин и Джемма, уже лежали на коленях у ног ее, и она клала им поочередно свои руки на головы; прошло другое мгновенье — и они уже обнимали и целовали ее, и Эмиль,

с сияющим от восторга лицом, вбежал в комнату и тоже бросился к тесно сплоченной группе.

Панталеоне глянул в комнату, ухмыльнулся и нахмурился в одно и то же время — и, отправившись в кондитерскую, отпер наружную дверь.

Xxx

Переход от отчаяния к грусти, а от нее к «тихой резиньяции» совершился довольно скоро в фрау Леноре; но и эта тихая резиньяция не замедлила превратиться в тайное довольство, которое, однако, всячески скрывалось и сдерживалось ради приличия. Санин с первого дня знакомства пришелся по нутру фрау Леноре; свыкшись с мыслию, что он будет ее зятем, она уже не находила в ней ничего особенно неприятного, хотя и считала долгом сохранять на лице своем несколько обиженное... скорей озабоченное выражение. К тому же всё, что произошло в последние дни, было так необычайно... Одно к одному! Как женщина практическая и как мать, фрау Леноре почла также своим долгом подвергнуть Санина разнообразным вопросам, и Санин, который, отправляясь утром на свидание с Джеммой, и в помыслах не имел, что он женится на ней, — правда, он ни о чем тогда не думал, а только отдавался влечению своей страсти, — Санин с полной готовностью и, можно сказать, с азартом вошел в свою роль, роль жениха, и на все расспросы отвечал обстоятельно, подробно, охотно. Удостоверившись, что он настоящий, природный дворянин, и даже несколько удивившись тому, что он не князь, фрау Леноре приняла серьезный вид и — «предупредила его заранее», что будет с ним совершенно бесцеремонно откровенна, потому что к этому принуждает ее священная обязанность матери! — на что Санин отвечал, что он от нее иного не ожидал, и сам ее убедительно просит не щадить его!

Тогда фрау Леноре заметила ему, что г-н Клюбер (произнесши это имя, она слегка вздохнула и сжала губы и запнулась) — г-н Клюбер, *бывший* Джеммин жених, уже теперь обладает восемью тысячами гульденов дохода — и с каждым годом эта сумма будет быстро увеличиваться, — а его, г-на Санина, каков доход?

— Восемь тысяч гульденов, — повторил протяжно Санин. — Это на наши деньги — около пятнадцати тысяч рублей ассигнациями... Мой доход гораздо меньше. У меня есть небольшое имение в Тульской губернии... При хорошо устроенном хозяйстве оно может дать — и даже непременно должно дать тысяч пять или шесть... Да если я поступлю на службу — я легко могу получить тысячи две жалованья.

— На службу в России? — воскликнула фрау Леноре. — Я, стало быть, должна расстаться с Джеммой!

— Можно будет определиться по дипломатической части, — подхватил Санин, — у меня есть некоторые связи... Тогда служба происходит за границей. А то вот еще что можно будет сделать — и это гораздо лучше всего: продать имение и употребить вырученный капитал на какое-нибудь выгодное предприятие, например, на усовершенствование вашей кондитерской.

Санин и чувствовал, что говорит нечто несообразное, но им овладела непонятная отвага! Он глянет на Джемму, которая с тех пор, как начался «практический» разговор, то и дело вставала, ходила по комнате, садилась опять, — глянет он на нее — и нет для него препятствий, и готов он устроить всё, сейчас, самым лучшим образом, лишь бы она не тревожилась!

— Г-н Клюбер тоже хотел дать мне небольшую сумму на поправку кондитерской, — промолвила, после небольшого колебания, фрау Леноре.

— Матушка! ради бога! матушка! — воскликнула Джемма по-итальянски.

— Об этих вещах надо говорить заблаговременно, дочь моя, — отвечала ей фрау Леноре на том же языке.

Она снова обратилась к Санину и стала его расспрашивать о том, какие законы существуют в России насчет браков и нет ли препятствий для вступления в супружество с католичками, — как в Пруссии? (В то время, в сороковом году, вся Германия еще помнила ссору прусского правительства с кельнским архиепископом из-за смешанных браков.) Когда же фрау Леноре услыхала, что, выйдя замуж за русского дворянина, ее дочь сама станет дворянкой, — она выказала некоторое удовольствие.

— Но ведь вы должны сперва отправиться в Россию?

— Зачем?

— А как же? Получить позволение от вашего государя?

Санин объяснил ей, что это вовсе не нужно... но что, быть может, ему точно придется перед свадьбой съездить на самое корот-

кое время в Россию (он сказал эти слова — и сердце в нем болезненно сжалось, глядевшая на него Джемма поняла, что оно сжалось, и покраснела и задумалась) — и что он постарается воспользоваться своим пребыванием на родине, чтобы продать имение... во всяком случае, он вывезет оттуда нужные деньги.

— Я бы также попросила вас привезти мне оттуда астраханские хорошие мерлушки на мантилью, — проговорила фрау Леноре. — Они там, по слухам, удивительно хороши и удивительно дешевы!

— Непременно, с величайшим удовольствием привезу и вам, и Джемме! — воскликнул Санин.

— А мне вышитую серебром сафьянную шапочку, — вмешался Эмиль, выставив голову из соседней комнаты.

— Хорошо, привезу и тебе... и Панталеоне туфли.

— Ну к чему это? к чему? — заметила фрау Леноре. — Мы говорим теперь о серьезных вещах. Но вот еще что, — прибавила практическая дама. — Вы говорите: продать имение. Но как же вы это сделаете? Вы, стало быть, и крестьян тоже продадите?

Санина точно что в бок кольнуло. Он вспомнил, что, разговаривая с г-жой Розелли и ее дочерью о крепостном праве, которое, по его словам, возбуждало в нем глубокое негодование, он неоднократно заверял их, что никогда и ни за что своих крестьян продавать не станет, ибо считает подобную продажу безнравственным делом.

— Я постараюсь продать мое имение человеку, которого я буду знать с хорошей стороны, — произнес он не без запинки, — или, быть может, сами крестьяне захотят откупиться.

— Это лучше всего, — согласилась и фрау Леноре. — А то продавать живых людей...

— Barbari![38] — проворчал Панталеоне, который, вслед за Эмилем, показался было у дверей, тряхнул тупеем и скрылся.

«Скверно!» — подумал про себя Санин — и украдкой поглядел на Джемму. Она, казалось, не слышала его последних слов. «Ну ничего!» — подумал он опять.

Таким манером продолжался практический разговор почти вплоть до самого обеда. Фрау Леноре совсем укротилась под конец — и называла уже Санина Дмитрием, ласково грозила ему пальцем и обещала отомстить за его коварство. Много и подробно расспрашивала она об его родне, потому что — «это тоже очень важно»; потребовала также, чтобы он описал ей церемонию брака,

[38] Варвары! (итал.).

как он совершается по обряду русской церкви, — и заранее восхищалась Джеммой в белом платье, с золотой короной на голове.

— Ведь она у меня красива, как королева, — промолвила она с материнской гордостью, — да и королев таких на свете нет!

— Другой Джеммы на свете нет! — подхватил Санин.

— Да; оттого-то она и — Джемма! (Известно, что на итальянском языке Джемма значит: драгоценный камень.)

Джемма бросилась целовать свою мать... Казалось, только теперь она вздохнула свободно — и удручавшая ее тяжесть спала с ее души.

А Санин вдруг почувствовал себя до того счастливым, такою детскою веселостью наполнилось его сердце при мысли, что вот сбылись же, сбылись те грезы, которым он недавно предавался в тех же самых комнатах; всё существо его до того взыграло, что он немедленно отправился в кондитерскую; он пожелал непременно, во что бы то ни стало, поторговать за прилавком, как несколько дней тому назад... «Я, мол, имею полное теперь на это право! Я ведь теперь домашний человек!»

И он действительно стал за прилавок и действительно поторговал, то есть продал двум зашедшим девочкам фунт конфект, вместо которого он им отпустил целых два, взявши с них только полцены.

За обедом он официально, как жених, сидел рядом с Джеммой. Фрау Леноре продолжала свои практические соображения. Эмиль то и дело смеялся и приставал к Санину, чтобы тот его взял с собой в Россию. Было решено, что Санин уедет через две недели. Один Панталеоне являл несколько угрюмый вид, так что даже фрау Леноре ему попеняла: «А еще секундантом был!» — Панталеоне взглянул исподлобья.

Джемма молчала почти всё время, но никогда ее лицо не было прекраснее и светлее. После обеда она отозвала Санина на минуту в сад и, остановившись около той самой скамейки, где она третьего дня отбирала вишни, сказала ему:

— Димитрий, не сердись на меня; но я еще раз хочу напомнить тебе, что ты не должен почитать себя связанным...

Он не дал ей договорить...

Джемма отклонила свое лицо.

— А насчет того, что мама упомянула — помнишь? — о различии нашей веры, то вот!..

Она схватила гранатовый крестик, висевший у ней на шее на

тонком шнурке, сильно дернула и оборвала шнурок — и подала ему крестик.

— Если я твоя, так и вера твоя — моя вера!

Глаза Санина были еще влажны, когда он вместе с Джеммой вернулся в дом.

К вечеру всё пришло в обычную колею. Даже в тресетте поиграли.

Xxxi

Санин проснулся очень рано на следующий день. Он находился на высшей степени человеческого благополучия; но не это мешало ему спать; вопрос, жизненный, роковой вопрос: каким образом он продаст свое имение как можно скорее и как можно выгоднее — тревожил его покой. В голове его скрещивались различнейшие планы, но ничего пока еще не выяснилось. Он вышел из дому, чтобы проветриться, освежиться. С готовым проектом — не иначе — хотел он предстать перед Джеммой.

Что это за фигура, достаточно грузная и толстоногая, впрочем, прилично одетая, идет перед ним, слегка переваливаясь и ковыляя? Где видел он этот затылок, поросший белобрысыми вихрами, эту голову, как бы насаженную прямо на плечи, эту мягкую, жирную спину, эти пухлые отвислые руки? Неужели это — Полозов, его старинный пансионский товарищ, которого он уже вот пять лет, как потерял из виду? Санин обогнал шедшую перед ним фигуру, обернулся... Широкое желтоватое лицо, маленькие свиные глазки с белыми ресницами и бровями, короткий, плоский нос, крупные, словно склеенные губы, круглый, безволосый подбородок — и это выражение всего лица, кислое, ленивое и недоверчивое — да точно: это он, это Ипполит Полозов!

«Уж не опять ли моя звезда действует?» — мелькнуло в мыслях Санина.

— Полозов! Ипполит Сидорыч! Это ты?

Фигура остановилась, подняла свои крохотные глаза, подождала немного — и, расклеив, наконец, свои губы, проговорила сиповатой фистулой:

— Дмитрий Санин?

— Он самый и есть! — воскликнул Санин и пожал одну из рук Полозова; облеченные в тесные лайковые перчатки серо-пепельного цвета, они по-прежнему безжизненно висели вдоль его выпуклых ляжек. — Давно ли ты здесь? Откуда приехал? Где остановился?

— Я приехал вчера из Висбадена, — отвечал, не спеша, Полозов, — за покупками для жены и сегодня же возвращаюсь в Висбаден.

— Ах, да! Ведь ты женат — и, говорят, на такой красавице!

Полозов повел в сторону глазами.

— Да, говорят.

Санин засмеялся.

— Я вижу, ты всё такой же... флегматик, каким ты был в пансионе.

— На что я буду меняться?

— И говорят, — прибавил Санин с особым ударением на слово «говорят», — что твоя жена очень богата.

— Говорят и это.

— А тебе самому, Ипполит Сидорыч, разве это неизвестно?

— Я, брат, Дмитрий... Павлович? — да, Павлович! в женины дела не мешаюсь.

— Не мешаешься? Ни в какие дела?

Полозов опять повел глазами.

— Ни в какие, брат. Она — сама по себе... ну и я — сам по себе.

— Куда же ты теперь идешь? — спросил Санин.

— Теперь я никуда не иду; стою на улице и с тобой беседую; а вот как мы с тобой покончим, отправлюсь к себе в гостиницу и буду завтракать.

— Меня в товарищи — хочешь?

— То есть это ты насчет завтрака?

— Да.

— Сделай одолжение, есть вдвоем гораздо веселее. Ты ведь не говорун?

— Не думаю.

— Ну и ладно.

Полозов двинулся вперед, Санин отправился с ним рядом. И думалось Санину — губы Полозова опять склеились, он сопел и переваливался молча, — думалось Санину: каким образом удалось этому чурбану подцепить красивую и богатую жену? Сам он ни богат, ни знатен, ни умен; в пансионе слыл за вялого и тупого

мальчика, за соню и обжору — и прозвище носил «слюняя». Чудеса!

«Но если жена его очень богата — сказывают, она дочь какого-то откупщика, — то не купит ли она мое имение? Хотя он и говорит, что ни в какие женины дела не входит, но ведь этому веры дать нельзя! Притом же и цену я назначу сходную, выгодную цену! Отчего не попытаться? Быть может, это всё моя звезда действует... Решено! попытаюсь!»

Полозов привел Санина в одну из лучших гостиниц Франкфурта, в которой занимал уже, конечно, лучший номер. На столах и стульях громоздились картоны, ящики, свертки... «Всё, брат, покупки для Марьи Николаевны!» (так звали жену Ипполита Сидорыча). Полозов опустился в кресло, простонал: «Эка жара!» — и развязал галстух. Потом позвонил обер-кельнера и тщательно заказал ему обильнейший завтрак. «А в час чтобы карета была готова! Слышите, ровно в час!»

Обер-кельнер подобострастно наклонился и рабски исчез.

Полозов расстегнул жилет. По одному тому, как он приподнимал брови, отдувался и морщил нос, можно было видеть, что говорить будет для него большою тягостью и что он не без некоторой тревоги ожидал, заставит ли его Санин ворочать языком, или сам возьмет на себя труд вести беседу?

Санин понял настроение своего приятеля и потому не стал обременять его вопросами; ограничился лишь самым необходимым; узнал, что он два года состоял на службе (в уланах! то-то, чай, хорош был в коротком-то мундирчике!), три года тому назад женился — и вот уже второй год находится за границей с женой, «которая теперь от чего-то лечится в Висбадене», — а там отправляется в Париж. С своей стороны, Санин также мало распространялся о своей прошедшей жизни, о своих планах; он прямо приступил к главному — то есть заговорил о своем намерении продать имение.

Полозов слушал его молча, лишь изредка взглядывая на дверь, откуда должен был явиться завтрак. Завтрак явился наконец. Обер-кельнер, в сопровождении двух других слуг, принес несколько блюд под серебряными колпаками.

— Это в Тульской губернии имение? — промолвил Полозов, садясь за стол и затыкая салфетку за ворот рубашки.

— В Тульской.

— Ефремовского уезда... Знаю.

— Ты мою Алексеевку знаешь? — спросил Санин, тоже садясь за стол.

— Знаю, как же. — Полозов запихал себе в рот кусок яичницы с

трюфелями. — У Марьи Николаевны — жены моей — по соседству есть имение... Откупорьте эту бутылку, кельнер! Земля порядочная — только мужики у тебя лес вырубили. Ты зачем же продаешь?

— Деньги нужны, брат. Я бы дешево продал. Вот бы тебе купить... Кстати.

Полозов проглотил стакан вина, утерся салфеткой и опять принялся жевать — медленно и шумно.

— Н-да, — проговорил он наконец... — Я имений не покупаю: капиталов нет. Пододвинь-ка масло. Разве вот жена купит. Ты с ней поговори. Коли дорого не запросишь — она этим не брезгает... Экие, однако, эти немцы — ослы! Не умеют рыбу сварить. Чего, кажется, проще? А еще толкуют: фатерланд, мол, объединить следует. Кельнер, примите эту мерзость!

— Неужели же твоя жена сама распоряжается... по хозяйству? — спросил Санин.

— Сама. Вот котлеты — хороши. Рекомендую. Я сказал тебе, Дмитрий Павлович, что ни в какие женины дела я не вхожу, и теперь тебе то же повторяю.

Полозов продолжал чавкать.

— Гм... Но как я с ней переговорить могу, Ипполит Сидорыч?

— А очень просто, Дмитрий Павлович. Отправляйся в Висбаден. Отсюда недалече. Кельнер, нет ли у вас английской горчицы? Нет? Скоты! Только времени не теряй. Мы послезавтра уезжаем. Позволь, я тебе налью рюмку: с букетом вино — не кислятина.

Лицо Полозова оживилось и покраснело; оно и оживлялось только тогда, когда он ел... или пил.

— Право же... я не знаю, как это сделать? — пробормотал Санин.

— Да что тебе так вдруг приспичило?

— То-то и есть, что приспичило, брат.

— И большая сумма нужна?

— Большая. Я... как бы это тебе сказать? я затеял... жениться.

Полозов поставил на стол рюмку, которую поднес было к губам.

— Жениться! — промолвил он хриплым, от изумленья хриплым, голосом и сложил свои пухлые руки на желудке. — Так скоропостижно?

— Да... скоро.

— Невеста — в России, разумеется?

— Нет, не в России.

— Где же?

— Здесь, во Франкфурте.

— И кто она?

— Немка; то есть нет — итальянка. Здешняя жительница.

— С капиталом?

— Без капитала.

— Стало быть, любовь уж очень сильная?

— Какой ты смешной! Да, сильная.

— И для этого тебе деньги нужны?

— Ну да... да, да.

Полозов проглотил вино, выполоскал себе рот и руки вымыл, старательно вытер их о салфетку, достал и закурил сигару. Санин молча глядел на него.

— Одно средство, — промычал наконец Полозов, закидывая назад голову и выпуская дым тонкой струйкой. — Ступай к жене. Она, коли захочет, всю беду твою руками разведет.

— Да как я ее увижу, жену твою? Ты говоришь, вы послезавтра уезжаете?

Полозов закрыл глаза.

— Знаешь, что я тебе скажу, — проговорил он наконец, вертя губами сигару и вздыхая. — Ступай-ка домой, снарядись попроворнее да приходи сюда. В час я выезжаю, карета у меня просторная — я тебя с собой возьму. Этак всего лучше. А теперь я посплю. Я, брат, как поем, непременно поспать должен. Натура требует — и я не противлюсь. И ты не мешай мне.

Санин подумал, подумал — и внезапно поднял голову: он решился!

— Ну хорошо, согласен — и благодарю тебя. В половине первого я здесь — и мы отправимся вместе в Висбаден. Я надеюсь, жена твоя не рассердится...

Но Полозов уже сопел. Пролепетал: Не мешай! — поболтал ногами и заснул, как младенец. Санин еще раз окинул взором его грузную фигуру, его голову, шею, его высоко поднятый, круглый, как яблоко, подбородок — и, выйдя из гостиницы, проворными шагами направился к кондитерской Розелли. Надо было предварить Джемму.

Xxxii

Он застал ее в кондитерской комнате, вместе с матерью. Фрау Леноре, перегнувши спину, измеряла небольшим складным футом промежуток между окнами. Увидя Санина, она выпрямилась и весело приветствовала его, не без маленького замешательства, однако.

— У меня, с ваших вчерашних слов, — начала она, — всё в голове вертятся мысли, как бы нам улучшить наш магазин. Вот тут, я полагаю, два шкапчика с зеркальными полочками поставить. Теперь, знаете, это в моде. И потом еще...

— Прекрасно, прекрасно, — перебил ее Санин, — это всё надо будет сообразить... Но подите-ка сюда, я вам что сообщу.

Он взял фрау Леноре и Джемму под руки и повел их в другую комнату. Фрау Леноре встревожилась и мерку из рук выронила. Джемма встревожилась было тоже, но глянула попристальнее на Санина и успокоилась. Лицо его, правда, озабоченное, выражало в то же время оживленную бодрость и решимость.

Он попросил обеих женщин сесть, а сам стал перед ними — и, размахивая руками да ероша волосы, сообщил им всё: встречу с Полозовым, предполагаемую поездку в Висбаден, возможность продажи имения.

— Вообразите мое счастье, — воскликнул он наконец, — дело приняло такой оборот, что мне даже, быть может, незачем будет ехать в Россию! И свадьбу мы можем сыграть гораздо скорее, чем я предполагал!

— Когда вы должны ехать? — спросила Джемма.

— Сегодня же — через час; мой приятель нанял карету — он меня довезет.

— Вы нам напишете?

— Немедленно! как только переговорю с этой дамой — так тотчас и напишу.

— Эта дама, вы говорите, очень богата? — спросила практическая фрау Леноре.

— Чрезвычайно! ее отец был миллионером — и всё ей оставил.

— Всё — ей одной? Ну, это ваше счастье. Только смотрите не продешевите вашего имения! Будьте благоразумны и тверды. Не увлекайтесь! Я понимаю ваше желание быть как можно скорее мужем Джеммы... но осторожность прежде всего! Не забудьте: чем вы дороже продадите имение, тем больше останется вам обоим — и вашим детям.

Джемма отвернулась, и Санин опять замахал руками.

— В моей осторожности вы можете быть уверены, фрау Леноре! Да я и торговаться не стану. Скажу ей настоящую цену: даст — хорошо; не даст — бог с ней!

— Вы с ней знакомы... с этой дамой? — спросила Джемма.

— Я ее никогда в лицо не видал.

— И когда же вы вернетесь?

— Если ничем не кончится наше дело — послезавтра; если же оно пойдет на лад — может быть, придется пробыть лишний день или два. Во всяком случае — минуты не промешкаю. Ведь я душу свою оставляю здесь! Однако я с вами заговорился, а мне нужно перед отъездом еще домой сбегать... Дайте мне руку на счастье, фрау Леноре, — у нас в России всегда так делается.

— Правую или левую?

— Левую — ближе к сердцу. Явлюсь послезавтра — со щитом или на щите! Мне что-то говорит: я вернусь победителем. Прощайте, мои добрые, мои милые...

Он обнял и поцеловал фрау Леноре, а Джемму попросил пойти с ним в ее комнату — на минутку, так как ему нужно сообщить ей что-то очень важное. Ему просто хотелось проститься с ней наедине. Фрау Леноре это поняла — и не полюбопытствовала узнать, какая это была такая важная вещь...

Санин никогда еще не бывал в комнате Джеммы. Всё обаяние любви, весь ее огонь, и восторг, и сладкий ужас — так и вспыхнули в нем, так и ворвались в его душу, как только он переступил заветный порог... Он кинул вокруг умиленный взор, пал к ногам милой девушки и прижал лицо свое к ее стану...

— Ты мой? — шепнула она, — ты вернешься скоро?

— Я твой... я вернусь, — твердил он задыхаясь.

— Я буду ждать тебя, мой милый!

Несколько мгновений спустя Санин уже бежал по улице к себе на квартиру. Он и не заметил того, что вслед за ним из двери кондитерской, весь растрепанный, выскочил Панталеоне — и что-то кричал ему, и потрясал, и как будто грозил высоко поднятой рукою.

Ровно в три четверти первого Санин отъявился к Полозову. У ворот его гостиницы уже стояла карета, запряженная четырьмя лошадьми. Увидав Санина, Полозов только промолвил: «А! решился?» — и, надев шляпу, шинель и калоши, заткнув себе хлопчатой бумагой уши, хотя дело было летом, вышел на крыльцо. Кельнеры, по его указанию, расположили во внутренности кареты все многочисленные его покупки, обложили место его сиденья шелковыми подушечками, сумочками, узелками, поставили в ноги короб с провизией и привязали к козлам чемодан. Полозов расплатился щедрой рукой — и, хотя сзади, но почтительно поддерживаемый услужливым привратником, полез, кряхтя, в карету, уселся, обмял хорошенько всё вокруг себя, выбрал и закурил сигару — и тогда только кивнул пальцем Санину: полезай, мол, и ты! Санин поместился с ним рядом. Полозов приказал через привратника почтальону ехать исправно — если желает получить на водку; подножки загремели, дверцы хлопнули, карета покатилась.

Xxxiii

От Франкфурта до Висбадена теперь по железной дороге менее часа езды; в то время экстра-почта поспевала часа в три. Лошадей меняли раз пять. Полозов не то дремал, не то так покачивался, держа сигару в зубах, и говорил очень мало; в окошко не выглянул ни разу: живописными видами он не интересовался и даже объявил, что «природа — смерть его!» Санин тоже молчал и тоже не любовался видами: ему было не до того. Он весь отдался размышлениям, воспоминаниям. На станциях Полозов аккуратно расплачивался, замечал время по часам и награждал почтальонов — мало или много, смотря по их усердию. На полдороге он достал из короба с съестными припасами два апельсина и, выбрав лучший, предложил Санину другой. Санин пристально поглядел на своего спутника — и вдруг рассмеялся.

— Чему ты? — спросил тот, старательно отдирая своими короткими белыми ногтями кожу с апельсина.

— Чему? — повторил Санин. — Да нашему с тобой путешествию.

— А что? — переспросил Полозов, пропуская в рот один из тех продольных ломтиков, на которые распадается мясо апельсина.

— Очень оно уже странно. Вчера я, признаться, так же мало думал о тебе, как о китайском императоре, а сегодня я еду с тобой продавать мое имение твоей жене, о которой тоже не имею малейшего понятия.

— Всяко бывает, — отвечал Полозов. — Ты только поживи подольше — всего насмотришься. Например, можешь ты себе представить меня подъезжающим на ординарцы? А я подъезжал; а великий князь Михаил Павлович скомандовал: «Рысью, рысью этого толстого корнета! Прибавь рыси!»

Санин почесал у себя за ухом.

— Скажи мне, пожалуйста, Ипполит Сидорыч, какова твоя жена? Нрав у ней каков? Мне ведь это нужно знать.

— Ему хорошо командовать: «рысью!» — с внезапной запальчивостью подхватил Полозов, — а мне-то... мне-то каково? Я и подумал: возьмите вы себе ваши чины да эполеты — ну их с богом! Да... ты о жене спрашивал? Что — жена? Человек, как все. Пальца ей в рог не клади — она этого не любит. Главное, говори побольше... чтобы посмеяться было над чем. Про любовь свою расскажи, что ли... да позабавней, знаешь.

— Как позабавней?

— Да так же. Ведь ты мне сказывал, что влюблен, жениться хочешь. Ну вот, ты это и опиши.

Санин обиделся.

— Что же в этом ты находишь смешного?

Полозов только глазами повел. Сок от апельсина тек по его подбородку.

— Это твоя жена тебя во Франкфурт за покупками посылала? — спросил Санин спустя немного времени.

— Она самая.

— Какие же это покупки?

— Известно: игрушки.

— Игрушки? разве у тебя есть дети?

Полозов даже посторонился от Санина.

— Вона! С какой стати у меня будут дети? Женские колифишэ[39]... Уборы. По части туалета.

— Ты разве в этом толк знаешь?

— Знаю.

— Как же ты мне говорил, что ни во что женино не входишь?

— В другое не вхожу. А это... ничего. От скуки — можно. Да и жена вкусу моему верит. Я ж и торговаться лих.

Полозов начинал говорить отрывисто; он уже устал.

— И очень жена твоя богата?

— Богата-то богата. Только больше для себя.

— Однако, кажется, и ты пожаловаться не можешь?

— На то я муж. Еще бы мне не пользоваться! И полезный же я ей человек! Ей со мной — лафа! Я — удобный!

Полозов утер лицо фуляром и тяжело фукнул: «Пощади, дескать; не заставляй еще произносить слова. Видишь, как оно мне

[39] безделушки (франц.: colifichet).

трудно».

Санин оставил его в покое — и снова погрузился в размышления.

Гостиница в Висбадене, перед которой остановилась карета, уже прямо смахивала на дворец. Колокольчики немедленно зазвонили в ее недрах, поднялась суетня и беготня; благообразные люди в черных фраках запрыгали у главного входа; залитый золотом швейцар с размаху отворил дверцы кареты.

Как некий триумфатор высадился Полозов и начал подниматься по устланной коврами и благовонной лестнице. К нему подлетел человек, тоже отлично одетый, но с русским лицом — его камердинер. Полозов заметил ему, что впредь будет всегда брать его с собою, ибо, накануне, во Франкфурте, его, Полозова, оставили на ночь без теплой воды! Камердинер изобразил ужас на лице — и, проворно наклонясь, снял с барина калоши.

— Марья Николаевна дома? — спросил Полозов.

— Дома-с. Изволят одеваться. У графини Ласунской изволят обедать.

— А! у этой!.. Стой! Там вещи в карете, всё вынь сам и внеси. А ты, Дмитрий Павлович, — прибавил Полозов, — возьми себе комнату да через три четверти часа и приходи. Пообедаем вместе.

Полозов поплыл дальше, а Санин спросил себе номер попроще — и, приведя туалет свой в порядок да отдохнув немножко, отправился в громадный апартамент, занимаемый его светлостью (Durchlaucht) князем фон Полозоф.

Он застал этого «князя» восседающим на роскошнейшем бархатном кресле посреди великолепнейшего салона. Флегматический приятель Санина успел уже ванну взять и облачиться в богатейший атласный шлафрок; на голову он надел малиновую феску. Санин приблизился к нему и некоторое время рассматривал его. Полозов сидел неподвижно, как идол; даже лица в его сторону не повернул, даже бровью не повел, звука не издал. Зрелище было поистине величественное! Полюбовавшись им минуты с две, Санин хотел было заговорить, нарушить эту священную тишину — как вдруг дверь из соседней комнаты растворилась и на пороге появилась молодая, красивая дама в белом шелковом платье, с черными кружевами, в бриллиантах на руках и на шее — сама Марья Николаевна Полозова. Ее густые русые волосы падали с обеих сторон головы — заплетенными, но не подобранными косами.

Xxxiv

— Ах, извините! — проговорила она с полусмущенной, полунасмешливой улыбкой, мгновенно прихватив рукою конец одной косы и вперив на Санина свои большие серые светлые глаза. — Я не думала, что вы уже пришли.

— Санин, Дмитрий Павлович, приятель мой с детства, — промолвил Полозов, по-прежнему не оборачиваясь к нему и не вставая, но указывая на него пальцем.

— Да... знаю... Ты мне уже сказывал. Очень рада познакомиться. Но я хотела было попросить тебя, Ипполит Сидорыч... Моя горничная сегодня какая-то бестолковая...

— Волосы тебе убрать?

— Да, да, пожалуйста. Извините, — повторила Марья Николаевна с прежней улыбкой, кивнула головою Санину и, быстро повернувшись, скрылась за дверью, оставив за собою мимолетное, но стройное впечатление прелестной шеи, удивительных плеч, удивительного стана.

Полозов встал и, тяжело переваливаясь, ушел в ту же дверь.

Санин ни одной секунды не сомневался в том, что присутствие его в салоне «князя Полозова» было как нельзя лучше известно самой хозяйке; весь форс состоял в том, чтобы показать свои волосы, которые были точно хороши. Санин внутренно даже порадовался этой выходке г-жи Полозовой: коли, мол, захотели меня поразить, блеснуть передо мною — может быть, как знать? и насчет цены на имение окажут податливость. Его душа до того была наполнена Джеммой, что все другие женщины уже не имели для него никакого значения: он едва замечал их; и на этот раз он ограничился только тем, что подумал: «Да, правду говорили мне: эта барыня хоть куда!»

А будь он не в таком исключительном душевном состоянии, он бы, вероятно, иначе выразился: Мария Николаевна Полозова, урожденная Колышкина, была очень замечательная особа. И не то, чтобы она была отъявленная красавица: в ней даже довольно явственно сказывались следы ее плебейского происхождения. Лоб у ней был низкий, нос несколько мясистый и вздернутый; ни тонкостью кожи, ни изяществом рук и ног она похвалиться не могла — но что всё это значило? Не перед «святыней красоты», говоря словами Пушкина, остановился бы всякий, кто бы встретился с нею, но перед обаянием мощного, не то русского, не то цыганского, цветущего женского тела... и не невольно остановился бы он!

Но образ Джеммы охранял Санина, как та тройная броня, о которой поют стихотворцы.

Минут десять спустя Марья Николаевна появилась опять в сопровождении своего супруга. Она подошла к Санину... а походка у ней была такая, что иные чудаки в те, увы! уже далекие времена — от одной этой походки с ума сходили. «Эта женщина, когда идет к тебе, точно всё счастье твоей жизни тебе навстречу несет», — говаривал один из них. Она подошла к Санину — и, протянув ему руку, промолвила своим ласковым и как бы сдержанным голосом по-русски: «Вы меня дождетесь, не правда? Я вернусь скоро».

Санин наклонился почтительно, а Марья Николаевна уже исчезала за портьерой выходной двери — и, исчезая, опять повернула голову назад через плечо, и опять улыбнулась, и опять оставила за собою прежнее, стройное впечатление.

Когда она улыбалась — не одна и не две, а целых три ямочки обозначались на каждой щеке, и ее глаза улыбались больше, чем губы, чем ее алые, длинные, вкусные губы, с двумя крошечными родинками на левой их стороне.

Полозов ввалился в комнату и опять поместился на кресле. Безмолвствовал он по-прежнему; но странная усмешка от времени до времени пучила его бесцветные и уже сморщенные щеки.

Он был старообразен, хотя всего тремя годами старше Санина.

Обед, которым он попотчевал своего гостя, конечно, удовлетворил бы самого взыскательного гастронома, но Санину он показался бесконечным, несносным! Полозов ел медленно, «с чувством, с толком, с расстановкой», внимательно наклоняясь над тарелкой, нюхая чуть не каждый кусок; сперва пополощет себе рот вином, потом уже проглотит и губами пошлепает... А за жарким он вдруг разговорился — но о чем? О мериносах, которых намеревался выписать целое стадо, да так подробно, с такой нежностью, употреб-

ляя всё уменьшительные имена. Выпив чашку горячего, как кипяток, кофе (он несколько раз, слезливо-раздраженным голосом, напомнил кельнеру, что накануне ему подали кофе — холодный, холодный, как лед!) и прикусив гаванскую сигару своими желтыми кривыми зубами, он по обычаю своему задремал, к великой радости Санина, который начал ходить взад и вперед, неслышными шагами, по мягкому ковру, и мечтал о том, как он будет жить с Джеммой и с каким известием вернется к ней. Однако Полозов проснулся, по собственному замечанию, раньше обыкновенного, — он поспал всего полтора часика и, выпив стакан зельтерской воды со льдом да проглотив ложек с восемь варенья, русского варенья, которое принес ему камердинер в темно-зеленой, настоящей «киевской» банке и без которого он, по его словам, жить не мог, — он уставился припухшими глазами на Санина и спросил его, не хочет ли он поиграть с ним в дурачки.. Санин охотно согласился; он боялся, как бы Полозов опять не заговорил о барашках, да о ярочках, да о курдючках с жирком. Хозяин и гость, оба перешли в гостиную, кельнер принес карты — и началась игра, разумеется, не на деньги.

За этим невинным занятием застала их Марья Николаевна, вернувшись от графини Ласунской.

Она громко рассмеялась, как только вошла в комнату и увидала карты и раскрытый ломберный стол. Санин вскочил с места, но она воскликнула:

— Сидите играйте. Я сейчас переоденусь и к вам вернусь, — и опять исчезла, прошумев платьем и сдергивая перчатки на ходу.

Она точно вернулась очень скоро. Свое нарядное платье она заменила широкой шелковой блузой лилового цвета с открытыми висячими рукавами; толстый крученый шнурок перехватывал ее талью. Она подсела к мужу и, дождавшись, что он остался в дураках, сказала ему: «Ну, пышка, довольно! (при слове „пышка“ Санин с изумлением глянул на нее, а она весело улыбнулась, отвечая взглядом на его взгляд и выказывая все свои ямочки на щеках) — довольно; я вижу, ты спать хочешь; целуй ручку и отправляйся; а мы с г-м Саниным побеседуем вдвоем».

— Спать я не хочу, — промолвил Полозов, грузно поднимаясь с кресла, — а отправиться отправлюсь и ручку поцелую. — Она подставила ему свою ладонь, не переставая улыбаться и глядеть на Санина.

Полозов тоже глянул на него и ушел не простившись.

— Ну, рассказывайте, рассказывайте, — с живостью проговори-

ла Марья Николаевна, разом ставя оба обнаженные локтя на стол и нетерпеливо постукивая ногтями одной руки о ногти другой. — Правда, вы, говорят, женитесь?

Сказав эти слова, Марья Николаевна даже голову немножко набок нагнула, чтобы пристальнее и пронзительнее заглянуть Санину в глаза.

Xxxv

Развязное обхождение г-жи Полозовой, вероятно, на первых порах смутило бы Санина — хотя он новичком не был и уже потерся между людьми, — если бы в самой этой развязности и фамильярности он опять-таки не увидел хорошего предзнаменования для своего предприятия. «Будем потакать капризам этой богатой барыни», — решил он про себя — и так же непринужденно, как она его спрашивала, ответил ей:

— Да, я женюсь.

— На ком? На иностранке?

— Да.

— Вы недавно с ней познакомились? Во Франкфурте?

— Точно так.

— И кто она такая? Можно узнать?

— Можно. Она дочь кондитера.

Марья Николаевна широко раскрыла глаза и подняла брови.

— Да ведь это прелесть, — проговорила она медлительным голосом, — это чудо! Я уже полагала, что таких молодых людей, как вы, на свете больше не встречается. Дочь кондитера!

— Вас это, я вижу, удивляет, — заметил не без достоинства Санин, — но, во-первых, у меня вовсе нет тех предрассудков...

— *Во-первых,* это меня нисколько не удивляет, — перебила Марья Николаевна, — предрассудков и у меня нет. Я сама дочь мужика. А? что, взяли? Меня удивляет и радует то, что вот человек не боится любить. Ведь вы ее любите?

— Да.

— Она очень хороша собою?

Санина слегка покоробило от этого последнего вопроса... Однако отступать уже не приходилось.

— Вы знаете, Марья Николаевна, — начал он, — всякому человеку лицо его возлюбленной кажется лучше всех других; но моя невеста — действительно красавица.

— В самом деле? В каком роде? итальянском? античном?

— Да; у ней очень правильные черты.

— С вами нет ее портрета?

— Нет. (В то время о фотографиях еще помину не было. Дагерротипы едва стали распространяться.)

— Как ее зовут?

— Ее имя — Джемма.

— А ваше — как?

— Димитрий.

— По отчеству?

— Павлович.

— Знаете что, — проговорила Марья Николаевна всё тем же медлительным голосом, — вы мне очень нравитесь, Дмитрий Павлович. Вы, должно быть, хороший человек. Дайте-ка мне вашу руку. Будемте приятелями.

Она крепко пожала его руку своими красивыми, белыми, сильными пальцами. Ее рука была немногим меньше его руки — но гораздо теплей и глаже, и мягче, и жизненней.

— Только знаете, что мне приходит в голову?

— Что?

— Вы не рассердитесь? Нет? Она, вы говорите, ваша невеста. Но разве... разве это непременно было нужно?

Санин нахмурился.

— Я вас не понимаю, Марья Николаевна.

Марья Николаевна засмеялась тихохонько и, встряхнув головою, откинула назад падавшие ей на щеки волосы.

— Решительно — он прелесть, — промолвила она не то задумчиво, не то рассеянно. — Рыцарь! Подите верьте после этого людям, которые утверждают, что идеалисты все перевелись!

Марья Николаевна всё время говорила по-русски удивительно чистым, прямо московским языком — народного, не дворянского пошиба.

— Вы, наверное, дома воспитывались, в старозаветном, богобоязненном семействе? — спросила она. — Вы какой губернии?

— Тульской.

— Ну, так мы однокорытники. Мой отец... Ведь вам известно, кто был мой отец?

— Да, известно.

— Он в Туле родился... Туляк был. Ну, хорошо... (Это «хорошо» Марья Николаевна уже с намерением выговорила совсем по-мещанскому — вот так: хершóо.) Ну давайте же теперь за дело примемся.

— То есть... как же это так за дело приняться? Что вам угодно этим сказать?

Марья Николаевна прищурилась.

— Да вы зачем сюда приехали? (Когда она щурила глаза, выражение их становилось очень ласковым и немного насмешливым; когда же она раскрывала их во всю величину — в их светлом, почти холодном блеске проступало что-то недоброе... что-то угрожающее. Особенную красоту придавали ее глазам ее брови, густые, немного надвинутые, настоящие соболиные.) Вы хотите, чтобы я у вас купила имение? Вам нужны деньги для вашего бракосочетания? Не так ли?

— Да, нужны.

— И много вам их требуется?

— На первый случай я бы удовольствовался несколькими тысячами франков. Вашему супругу мое имение известно. Вы можете посоветоваться с ним, — а я бы взял цену недорогую.

Марья Николаевна повела головою направо и налево.

— *Во-первых,* — начала она с расстановкой, ударяя концами пальцев по обшлагу санинского сюртука, — я не имею привычки советоваться с мужем, разве вот насчет туалета — он на это у меня молодец; а *во-вторых,* зачем вы говорите, что вы цену назначите недорогую? Я не хочу воспользоваться тем, что вы теперь очень влюблены и готовы на всякие жертвы... Я никаких жертв от вас не приму. Как? Вместо того чтобы поощрять в вас... ну, как бы это сказать получше?.. благородные чувства, что ли? я вас стану обдирать как липку? Это не в моих привычках. Когда случится, я людей не щажу — только не таким манером.

Санин никак не мог понять, что она — смеется ли над ним, или говорит серьезно? а только думал про себя: «О, да с тобой держи ухо востро!»

Слуга вошел с русским самоваром, чайным прибором, сливками, сухарями и т. п. на большом подносе, расставил всю эту благодать на столе между Саниным и г-жою Полозовой — и удалился.

Она налила ему чашку чаю.

— Вы не брезгаете? — спросила она, накладывая ему сахар в чашку пальцами... а щипчики лежали тут же.

— Помилуйте!.. От такой прекрасной руки...

Он не закончил фразы и чуть не поперхнулся глотком чаю, а она внимательно и ясно глядела на него.

— Я потому упомянул о недорогой цене моего имения, — продолжал он, — что так как вы теперь находитесь за границей, то я не могу предполагать у вас много свободных денег и наконец я сам чувствую, что продажа... или покупка имения при подобных условиях есть нечто ненормальное, и я должен взять это в соображение.

Санин путался и сбивался, а Марья Николаевна тихонько отклонилась на спинку кресла, скрестила руки и глядела на него тем же внимательным и ясным взглядом. Он наконец умолк.

— Ничего, говорите, говорите, — промолвила она, как бы приходя ему на помощь, — я вас слушаю — мне приятно вас слушать; говорите.

Санин принялся описывать свое имение, сколько в нем десятин, и где оно находится, и каковы в нем хозяйственные угодья, и какие можно извлечь из него выгоды... упомянул даже о живописном местоположении усадьбы; а Марья Николаевна всё глядела да глядела на него — всё светлее и пристальнее, и губы ее чуть-чуть двигались, без улыбки: она покусывала их. Ему стало неловко наконец; он замолчал вторично.

— Дмитрий Павлович, — начала Марья Николаевна — и задумалась... — Дмитрий Павлович, — повторила она... — Знаете что: я уверена, что покупка вашего имения — очень выгодная для меня афера и что мы сойдёмся; но вы должны мне дать... два дня — да, два дня сроку. Ведь вы в состоянии на два дня расстаться с вашей невестой? Дольше я вас не продержу, против вашей воли — даю вам честное слово. Но если вам нужны теперь же пять, шесть тысяч франков, я с великим удовольствием готова предложить вам их взаймы — а там мы сочтемся.

Санин поднялся.

— Я должен благодарить вас, Марья Николаевна, за вашу радушную и любезную готовность услужить человеку, почти совсем вам незнакомому... Но если уже вам непременно так угодно, то я предпочту дождаться вашего решения насчет моего имения — останусь здесь два дня.

— Да; мне так угодно, Дмитрий Павлович. А вам будет очень тяжело? Очень? Скажите.

— Я люблю свою невесту, Марья Николаевна, и разлука с ней мне не легка.

— Ах, вы золотой человек! — со вздохом промолвила Марья

Николаевна. — Обещаюсь не слишком томить вас. Вы уходите?

— Уже поздно, — заметил Санин.

— А вам надо отдохнуть от дороги — и от игры в дурачки с моим мужем. Скажите — вы Ипполиту Сидорычу, моему мужу, большой приятель?

— Мы воспитывались в одном пансионе.

— И он уже тогда был такой?

— Какой «такой»? — спросил Санин.

Марья Николаевна вдруг засмеялась, засмеялась до красноты всего лица, поднесла платок к губам, встала с кресла и, покачиваясь, как усталая, подошла к Санину и протянула ему руку.

Он раскланялся и направился к двери.

— Извольте завтра пораньше явиться — слышите? — крикнула она ему вслед.

Он глянул назад, уходя из комнаты, и увидел, что она опять опустилась в кресло и закинула обе руки за голову. Широкие рукава блузы скатились почти до самых плеч — и нельзя было не сознаться, что поза этих рук, что вся эта фигура была обаятельно прекрасна.

Xxxvi

Далеко за полночь горела лампа в комнате Санина. Он сидел за столом и писал «своей Джемме». Рассказал ей всё; описал ей Полозовых, мужа и жену — впрочем, больше распространялся насчет собственных чувств — и кончил тем, что назначил ей свидание через три дня!!! (с тремя восклицательными знаками). Утром рано он отнес это письмо на почту и пошел прогуляться по саду Кургауза, где уже играла музыка. Народу было еще мало; он постоял перед беседкой, в которой помещался оркестр, прослушал попурри из «Роберта-Дьявола» и, напившись кофе, отправился в боковую, уединенную аллею, присел на лавочку — и задумался.

Ручка зонтика проворно — и довольно крепко — постучала по его плечу. Он встрепенулся... Перед ним, в легком, серо-зеленом барежевом платье, в белой тюлевой шляпке, в шведских перчатках, свежая и розовая, как летнее утро, но с не исчезнувшей еще негой безмятежного сна в движениях и во взорах, стояла Марья Николаевна.

— Здравствуйте, — промолвила она. — Я сегодня посылала за вами, да вы уже ушли. Я только что отпила свой второй стакан — меня, вы знаете, заставляют здесь воду пить, бог ведает зачем... уж я ли не здорова? И вот я должна гулять целый час. Хотите вы быть моим спутником? А там мы кофе напьемся.

— Я уже пил, — промолвил Санин, вставая, — но я очень рад гулять с вами.

— Ну так дайте же мне вашу руку... Не бойтесь: вашей невесты здесь нет — она вас не увидит.

Санин принужденно улыбнулся. Он испытывал ощущение неприятное всякий раз, когда Марья Николаевна упоминала о Джемме. Однако он поспешно и послушно наклонился... Рука

Марьи Николаевны медленно и мягко опустилась на его руку, и скользнула по ней, и как бы прильнула к ней.

— Пойдемте — вот сюда, — сказала она ему, закинув раскрытый зонтик за плечо. — Я в здешнем парке как дома: поведу вас по хорошим местам. И знаете что (она часто употребляла эти два слова): мы с вами не будем говорить теперь об этой покупке; мы о ней после завтрака хорошенько потолкуем; а вы должны мне теперь рассказать о себе... чтобы я знала, с кем я имею дело. А после, если хотите, я вам о себе порасскажу. Согласны?

— Но, Марья Николаевна, что может быть для вас интересного...

— Постойте, постойте. Вы не так меня поняли. Я с вами не кокетничать хочу. — Марья Николаевна пожала плечами. — У него невеста, как древняя статуя, а я буду с ним кокетничать?! Но у вас товар — а я купец. Я и хочу знать, каков у вас товар. Ну-ка, показывайте — каков он? Я хочу знать не только, что я покупаю, но и у кого я покупаю. Это было правило моего батюшки. Ну, начинайте... Ну, хоть не с детства — ну вот — давно ли вы за границей? И где вы были до сих пор? Только идите тише — нам некуда спешить.

— Я сюда прибыл из Италии, где я пробыл несколько месяцев.

— А у вас, видно, особое влечение ко всему итальянскому? Странно, что вы не *там* нашли свой предмет. Вы любите художества? Картины? или больше — музыку?

— Я люблю искусство... Я всё прекрасное люблю.

— И музыку?

— И музыку тоже.

— А я ее совсем не люблю. Нравятся мне одни русские песни — и то в деревне, и то весной — с пляской, знаете... Красные кумачи, поднизи, на выгоне молоденькая травка, дымком попахивает... чудесно! Но не обо мне речь. Говорите же, рассказывайте.

Марья Николаевна сама шла, а сама то и дело взглядывала на Санина. Она была высокого роста — ее лицо приходилось почти в уровень с его лицом.

Он принялся рассказывать — сначала неохотно, неумело, а потом разговорился, разболтался даже. Марья Николаевна очень умно слушала; да к тому же она сама казалась до того откровенной, что невольно и других вызывала на откровенность. Она обладала тем великим даром «обиходности» — le terrible don de la familiarité, о котором упоминает кардинал Ретц. Санин говорил о своих путешествиях, о житье в Петербурге, о своей молодости... Будь Марья

Николаевна светской дамой, с утонченными манерами — он никогда бы так не распустился; но она сама называла себя добрым малым, не терпящим никаких церемоний; она именно так отрекомендовала себя Санину. И в то же время этот «добрый малый» шел рядом с ним кошачьей походкой, слегка прислоняясь к нему, и заглядывал ему в лицо; и шел он в образе молодого женского существа, от которого так и веяло тем разбирающим и томящим, тихим и жгучим соблазном, каким способны донимать нашего брата — грешного, слабого мужчину, одни — и то некоторые и то не чистые, а с надлежащей помесью — славянские натуры!

Прогулка Санина с Марьей Николаевной, беседа Санина с Марьей Николаевной продолжалась час с лишком. И ни разу они не останавливались — всё шли да шли по бесконечным аллеям парка, то поднимаясь в гору и на ходу любуясь видом, то спускаясь в долину и укрываясь в непроницаемую тень — и всё рука с рукой. Временами Санину даже досадно становилось: он с Джеммой, с своей милой Джеммой никогда так долго не гулял... а тут эта барыня завладела им — и баста!

— Не устали ли вы? — спрашивал он ее не однажды.

— Я никогда не устаю, — отвечала она.

Изредка им попадались гуляющие; почти все ей кланялись — иные почтительно, другие даже подобострастно. Одному из них, весьма красивому, щегольски одетому брюнету она крикнула издали, с самым лучшим парижским акцентом: «Comte, vous savez, il ne faut pas venir me voir — ni aujourd'hui, ni demain»[40]. Тот снял молча шляпу и отвесил низкий поклон.

— Кто это? — спросил Санин, по дурной привычке «любопытствовать», свойственной всем русским.

— Это? Один французик — их здесь много вертится... За мной ухаживает — тоже. Однако пора кофе пить. Пойдемте домой; вы, чай, успели проголодаться. Мой благоверный, должно быть, теперь глаза продрал.

«Благоверный! Глаза продрал!!» — повторил про себя Санин... «И говорит так отлично по-французски... Что за чудачка!»

Марья Николаевна не ошиблась. Когда она вместе с Саниным вернулась в гостиницу — «благоверный», или «пышка», сидел уже, с неизменной феской на голове, перед накрытым столом.

[40] «Знаете, граф, ни сегодня, ни завтра ко мне нельзя приходить» (франц.).

— А я тебя прождался! — воскликнул он, скорчив кислую мину. — Хотел уже кофе без тебя пить.

— Ничего, ничего, — весело возразила Марья Николаевна. — Ты сердился? Это тебе здорово: а то ты совсем застынешь. Я вот гостя привела. Звони скорее! Давайте пить кофе, кофе — самый лучший кофе — в саксонских чашках, на белоснежной скатерти!

Она скинула шляпу, перчатки — и захлопала в ладоши.

Полозов глянул на нее исподлобья.

— Что это вы сегодня так расскакались, Марья Николаевна? — проговорил он вполголоса.

— А не ваше дело, Ипполит Сидорыч! Звони! Дмитрий Павлович, садитесь — и пейте кофе во второй раз! Ах, как весело приказывать! Другого удовольствия на свете нет!

— Когда слушаются, — проворчал опять супруг.

— Именно, когда слушаются! Оттого-то мне и весело. Особенно с тобою. Не правда ли, пышка? А вот и кофе.

На громадном подносе, с которым появился кельнер, находилась также и театральная афишка. Марья Николаевна тотчас ухватилась за нее.

— Драма! — произнесла она с негодованием, — немецкая драма. Всё равно: лучше, чем немецкая комедия. Велите мне взять ложу — бенуар — или нет... лучше Fremden-Loge[41], — обратилась она к кельнеру. — Слышите ли: непременно Fremden-Loge!

— Но если Fremden-Loge уже взята его превосходительством, директором города (seine Excellenz der Herr Stadt-Director), — осмелился доложить кельнер.

— Дайте его превосходительству десять талеров, — а чтоб ложа у меня была! Слышите!

Кельнер покорно и печально наклонил голову.

— Дмитрий Павлович, вы поедете со мной в театр? немецкие актеры ужасны, но вы поедете... Да? Да! Какой вы любезный! Пышка, а ты не пойдешь?

— Как прикажешь, — проговорил Полозов в чашку, которую поднес ко рту.

— Знаешь что: останься. Ты в театре всё спишь — да и по-немецки ты понимаешь плохо. Ты лучше вот что сделай: напиши ответ управляющему — помнишь, насчет нашей мельницы... насчет крестьянского помолу. Скажи ему, что я не хочу, не хочу и не хочу! Вот тебе и занятие на целый вечер.

[41] ложу для иностранцев (нем.).

— Слушаю, — ответил Полозов.

— Ну, вот и прекрасно. Ты у меня умница. А теперь, господа, благо мы заговорили об управляющем, будемте толковать о главном нашем деле. Вот как только кельнер уберет со стола, вы нам всё расскажете, Дмитрий Павлович, о своем имении — как, что, за какую цену продаете, сколько хотите задатку вперед, — словом, всё! («Наконец-то, — подумал Санин, — слава богу!») Вы уж мне кое-что сообщили, сад свой, помнится, чудесно описали, да «пышки» при этом не было... Пусть он послушает — всё что-нибудь пробуркнет! Мне очень приятно думать, что я могу помочь вам жениться, да я же обещала вам, что после завтрака займусь вами; а я всегда держу свои обещания; не правда ли, Ипполит Сидорыч?

Полозов потер себе лицо ладонью.

— Что правда, то правда, вы никого не обманываете.

— Никогда! И никогда никого не обману. Ну, Дмитрий Павлович, излагайте дело, как мы выражаемся в сенате.

Xxxvii

Санин принялся «излагать дело», то есть опять, во второй раз, описывать свое имение, но уже не касаясь красот природы и от времени до времени ссылаясь на Полозова, для подтверждения приводимых «фактов и цифр». Но Полозов только хмыкал и головой покачивал — одобрительно ли, или неодобрительно — этого, кажется, сам чёрт бы не разобрал. Впрочем, Марья Николаевна и не нуждалась в его участии. Она выказывала такие коммерческие и административные способности, что оставалось только изумляться! Вся подноготная хозяйства была ей отлично известна; она обо всем аккуратно расспрашивала, во всё входила; каждое ее слово попадало в цель, ставило точку прямо на i. Санин не ожидал подобного экзамена: он не приготовился. И продолжался этот экзамен целых полтора часа. Санин испытывал все ощущения подсудимого, сидящего на узенькой скамеечке перед строгим и проницательным судьею. «Да это допрос!» — тоскливо шептал он про себя. Марья Николаевна всё время посмеивалась, словно шутила, но от этого Санину не было легче; а когда в течение «допроса» оказалось, что он не совсем ясно понимал значение слов: «передел» и «запашка» — так его даже пот прошиб.

— Ну, хорошо! — решила наконец Марья Николаевна. — Ваше имение я теперь знаю... не хуже вас. Какую же цену вы положите за душу? (В то время цены имениям, как известно, определялись по душам.)

— Да... я полагаю... меньше пятисот рублей взять нельзя, — с трудом проговорил Санин. (О, Панталеоне, Панталеоне, где ты? Вот бы когда тебе пришлось снова воскликнуть: Barbari!)

Марья Николаевна взвела глаза к небу, как бы соображая.

— Что ж? — промолвила она наконец. — Эта цена мне ка-

жется безобидной. Но я выговорила себе два дня сроку — и вы должны подождать до завтра. Я полагаю, что мы сойдемся, и тогда вы скажете, сколько вам потребуется задатку. А теперь basta così![42] — подхватила она, заметив, что Санин хотел что-то возразить. — Довольно мы занимались презренным металлом... à demain les affaires![43] Знаете что: я теперь отпускаю вас (она глянула на эмалевые часики, заткнутые у ней за поясом)... до трех часов... Надо ж дать вам отдохнуть. Ступайте поиграйте в рулетку.

— Я никогда в азартные игры не играю, — заметил Санин.

— В самом деле? Да вы совершенство. Впрочем, и я не играю. Глупо бросать деньги на ветер — наверняка. Но подите в игорную залу, посмотрите на физиономии. Попадаются презабавные. Старуха есть там одна, с фероньеркой и с усами — чудо! Наш князь там один — тоже хорош. Фигура величественная, нос как у орла, а поставит талер — и крестится украдкой под жилеткой. Читайте журналы, гуляйте, — словом, делайте что хотите... А в три часа я вас ожидаю... de pied ferme[44]. Надо будет пораньше пообедать. Театр у этих смешных немцев начинается в половине седьмого. — Она протянула руку. — Sans rancune, n'est-ce pas?[45]

— Помилуйте, Марья Николаевна, за что я буду на вас досадовать?

— А за то, что я вас мучила. Погодите, я вас еще не так, — прибавила она, прищурив глаза, и все ее ямочки разом выступили на заалевшихся щеках. — До свидания!

Санин поклонился и вышел. Веселый смех раздался вслед за ним — и в зеркале, мимо которого он проходил в это мгновенье, отразилась следующая сцена: Марья Николаевна надвинула своему супругу его феску на глаза, а он бессильно барахтался обеими руками.

---

[42] довольно! (итал.).

[43] дела на завтра! (франц.).

[44] непременно (франц.).

[45] Забудем старые обиды, не правда ли? (франц.).

Xxxviii

О, как глубоко и радостно вздохнулось Санину, как только он очутился у себя в комнате! Точно: Марья Николаевна правду сказала — ему следовало отдохнуть, отдохнуть от всех этих новых знакомств, столкновений, разговоров, от этого чада, который забрался ему в голову, в душу — от этого негаданного, непрошенного сближения с женщиной, столь чуждой ему! И когда же всё это совершается? Чуть не на другой день после того, как он узнал, что Джемма его любит, как он стал ее женихом! Да ведь это святотатство! Тысячу раз просил он мысленно прощенья у своей чистой, непорочной голубицы, хотя он собственно ни в чем обвинить себя не мог; тысячу раз целовал данный ею крестик. Не имей он надежды скоро и благополучно окончить дело, за которым приехал в Висбаден, опрометью бросился бы он оттуда назад — в милый Франкфурт, в тот дорогой, теперь уже родственный ему дом, к ней, к возлюбленным ее ногам... Но делать нечего! Надо испить фиал до дна, надо одеться, идти обедать — а оттуда в театр... Хоть бы завтра она его поскорей отпустила!

Еще одно его смущало, его сердило: он с любовью, с умилением, с благодарным восторгом думал о Джемме, о жизни с нею вдвоем, о счастии, которое его ожидало в будущем, — и между тем эта странная женщина, эта госпожа Полозова неотступно носилась... нет! не носилась — торчала... так именно, с особым злорадством выразился Санин — *торчала* перед его глазами, — и не мог он отделаться от ее образа, не мог не слышать ее голоса, не вспоминать ее речей, не мог не ощущать даже того особенного запаха, тонкого, свежего и пронзительного, как запах желтых лилий, которым веяло от ее одежд. Эта барыня явно дурачит его, и так и сяк к нему подъезжает... Зачем это? что ей надо? Неужели же это одна

прихоть избалованной, богатой и едва ли не безнравственной женщины? И этот муж?! Что это за существо? Какие его отношения к ней? И к чему лезут эти вопросы в голову ему, Санину, которому собственно нет никакого дела ни до г-на Полозова, ни до его супруги? Почему не может он прогнать этот неотвязный образ даже тогда, когда обращается всей душою к другому, светлому и ясному, как божий день? Как смеют — сквозь те, почти божественные черты — сквозить *эти?* И они не только сквозят — они ухмыляются дерзостно. Эти серые хищные глаза, эти ямочки на щеках, эти змеевидные косы — да неужели же это всё словно прилипло к нему, и он стряхнуть, отбросить прочь всё это не в силах, не может?

Вздор! вздор! Завтра же это всё исчезнет без следа... Но отпустит ли она его завтра?

Да... Все эти вопросы он себе ставил, а стало время пододвигаться к трем часам — и надел он черный фрак да, погулявши немного по парку, отправился к Полозовым.

Он застал у них в гостиной секретаря посольства из немцев, длинного-длинного, белокурого, с лошадиным профилем и пробором сзади (тогда это было еще внове) и... о чудо! кого еще? Фон Дёнгофа, того самого офицера, с которым дрался несколько дней тому назад! Он никак не ожидал встретить его именно тут — и невольно смутился, однако раскланялся с ним.

— Вы знакомы? — спросила Марья Николаевна, от которой не ускользнуло смущение Санина.

— Да... я имел уже честь, — промолвил Дёнгоф и, наклонившись слегка в сторону Марьи Николаевны, прибавил вполголоса, с улыбкой: — Тот самый... Ваш соотечественник... русский...

— Не может быть! — воскликнула она также вполголоса, погрозила ему пальцем и тотчас же стала прощаться — и с ним и с длинным секретарем, который, по всем признакам, был смертельно в нее влюблен, ибо даже рот раскрывал всякий раз, когда на нее взглядывал. Дёнгоф удалился немедленно, с любезной покорностью, как друг дома, который с полуслова понимает, чего от него требуют; секретарь заартачился было, но Марья Николаевна выпроводила его без всяких церемоний.

— Ступайте к вашей владетельной особе, — сказала она ему (тогда в Висбадене проживала некая принчипесса ди Монако, изумительно смахивавшая на плохую лоретку), — что вам сидеть у такой плебейки, как я?

— Помилуйте, сударыня, — уверял злополучный секретарь, — все принчипессы в мире...

Но Марья Николаевна была безжалостна — и секретарь ушел вместе со своим прибором.

Марья Николаевна в тот день принарядилась очень к своему «авантажу», как говаривали наши бабушки. На ней было шёлковое розовое платье глясэ, с рукавами a la Fontanges, и по крупному бриллианту в каждом ухе. Глаза ее блистали не хуже тех бриллиантов: она казалась в духе и в ударе.

Она усадила Санина возле себя и начала говорить ему о Париже, куда собиралась ехать через несколько дней, о том, что немцы ей надоели, что они глупы, когда умничают, и некстати умны, когда глупят; да вдруг, как говорится, в упор — a brьle pourpoint — спросила его, правда ли, что он вот с этим самым офицером, который сейчас тут сидел, на днях дрался из-за одной дамы?

— Вам это почему известно? — пробормотал изумленный Санин.

— Слухом земля полнится, Дмитрий Павлович; но, впрочем, я знаю, что вы были правы, тысячу раз правы — и вели себя как рыцарь. Скажите — эта дама была ваша невеста?

Санин слегка наморщил брови...

— Ну, не буду, не буду, — поспешно проговорила Марья Николаевна. — Вам это неприятно, простите меня, не буду! не сердитесь! — Полозов появился из соседней комнаты с листом газеты в руках. — Что ты? или обед готов?

— Обед сейчас подают, а ты посмотри-ка, что я в «Северной пчеле» вычитал... Князь Громобой умер.

Марья Николаевна подняла голову.

— А! царство ему небесное! Он мне каждый год, — обратилась она к Санину, — в феврале, ко дню моего рождения, все комнаты убирал камелиями. Но для этого еще не стоит жить в Петербурге зимой. Что, ему, пожалуй, за семьдесят лет было? — спросила она мужа.

— Было. Похороны его в газете описывают. Весь двор присутствовал. Вот и стихи князя Коврижкина по этому случаю.

— Ну и чудесно.

— Хочешь, прочту? Князь его называет мужем совета.

— Нет, не хочу. Какой он был муж совета! Он просто был муж Татьяны Юрьевны. Пойдемте обедать. Живой живое думает. Дмитрий Павлович, вашу руку.

Обед был, по-вчерашнему, удивительный и прошел весьма оживленно. Марья Николаевна умела рассказывать... редкий дар в женщине, да еще в русской! Она не стеснялась в выражениях; особенно доставалось от нее соотечественницам. Санину не раз пришлось расхохотаться от иного бойкого и меткого словца. Пуще всего Марья Николаевна не терпела ханжества, фразы и лжи... Она находила ее почти повсюду. Она словно щеголяла и хвасталась той низменной средою, в которой началась ее жизнь; сообщала довольно странные анекдоты о своих родных из времени своего детства; называла себя лапотницей, не хуже Натальи Кирилловны Нарышкиной. Санину стало очевидным, что она испытала на своем веку гораздо больше, чем многое множество ее сверстниц.

А Полозов кушал обдуманно, пил внимательно и только изредка вскидывал то на жену, то на Санина свои белесоватые, с виду слепые, в сущности очень зрячие глаза.

— Какой ты у меня умница! — воскликнула Марья Николаевна, обратившись к нему, — как ты все мои комиссии во Франкфурте исполнил! Поцеловала бы я тебя в лобик, да ты у меня за этим не гоняешься.

— Не гоняюсь, — отвечал Полозов и взрезал ананас серебряным ножом.

Марья Николаевна посмотрела на него и постучала пальцами по столу.

— Так идет наше пари? — промолвила она значительно.

— Идет.

— Ладно. Ты проиграешь.

Полозов выставил подбородок вперед.

— Ну, на этот раз, как ты на себя ни надейся, Марья Николаевна, а я полагаю, что проиграешь-то ты.

— О чем пари? Можно узнать? — спросил Санин.

— Нет... нельзя теперь, — ответила Марья Николаевна — и засмеялась.

Пробило семь часов. Кельнер доложил, что карета готова. Полозов проводил жену и тотчас же поплелся назад к своему креслу.

— Смотри же! Не забудь письма к управляющему! — крикнула ему Марья Николаевна из передней.

— Напишу, не беспокойся. Я человек аккуратный.

Xxxix

В 1840 году театр в Висбадене был и по наружности плох, а труппа его, по фразистой и мизерной посредственности, по старательной и пошлой рутине, ни на волос не возвышалась над тем уровнем, который до сих пор можно считать нормальным для всех германских театров и совершенство которого в последнее время представляла труппа в Карлсруэ, под «знаменитым» управлением г-на Девриента. Позади ложи, взятой для «ее светлости г-жи фон Полозов» (бог ведает, как умудрился кельнер ее достать — не подкупил же он штадт-директора в самом деле!) — позади этой ложи находилась небольшая комнатка, обставленная диванчиками; прежде чем войти в нее, Марья Николаевна попросила Санина поднять ширмочки, отделявшие ложу от театра.

— Я не хочу, чтобы меня видели, — сказала она, — а то ведь сейчас полезут.

Она и его посадила возле себя, спиною к зале, так, чтобы ложа казалась пустою.

Оркестр проиграл увертюру из «Свадьбы Фигаро»... Занавес поднялся: пьеса началась.

То было одно из многочисленных доморощенных произведений, в которых начитанные, но бездарные авторы отборным, но мертвенным языком, прилежно, но неуклюже проводили какую-нибудь «глубокую» или «животрепещущую» идею, представляли так называемый трагический конфликт и наводили скуку... азиатскую, как бывает азиатская холера. Марья Николаевна терпеливо выслушала половину акта, но когда первый любовник, узнав об измене своей возлюбленной (одет он был в коричневый сюртук с «буфами» и плисовым воротником, полосатый жилет с перламутровыми пуговицами, зеленые панталоны со штрипками из лакированной

кожи и белые замшевые перчатки), когда этот любовник, уперев оба кулака в грудь и оттопырив локти вперед, под острым углом, завыл уже прямо по-собачьи — Марья Николаевна не выдержала.

— Последний французский актер в последнем провинциальном городишке естественнее и лучше играет, чем первая немецкая знаменитость, — с негодованием воскликнула она и пересела в заднюю комнатку. — Подите сюда, — сказала она Санину, постукивая рукою возле себя по дивану. — Будемте болтать.

Санин повиновался.

Марья Николаевна глянула на него.

— А вы, я вижу, шелковый! Вашей жене будет с вами легко. Этот шут, — продолжала она, указывая концом веера на завывавшего актера (он исполнял роль домашнего учителя), — напомнил мне мою молодость: я тоже была влюблена в учителя. Это была моя первая... нет, моя вторая пассия. В первый раз я влюбилась в служку Донского монастыря. Мне было двенадцать лет. Я видала его только по воскресеньям. Он носил бархатный подрясник, душился оделаваном, пробираясь в толпе с кадилом, говорил дамам по-французски: «пардон, экскюзе» — и никогда не поднимал глаз, а ресницы у него были вот какие! — Марья Николаевна отделила ногтем большого пальца целую половину своего мизинца и показала Санину. — Учителя моего звали — monsieur Gaston! Надо вам сказать, что он был ужасно ученый и престрогий человек, из швейцарцев — и с таким энергическим лицом! Бакенбарды черные, как смоль, греческий профиль — и губы как из железа вылитые! Я его боялась! Я во всей моей жизни только одного этого человека и боялась. Он был гувернером моего брата, который потом умер... утонул. Одна цыганка и мне предсказала насильственную смерть, но это вздор. Я этому не верю. Представьте вы себе Ипполита Сидорыча с кинжалом?!.

— Можно умереть и не от кинжала, — заметил Санин.

— Всё это вздор! Вы суеверны? Я — нисколько. А чему быть, того не миновать. Monsieur Gaston жил у нас в доме, над моей головой. Бывало, я проснусь ночью и слышу его шаги — он очень поздно ложился — и сердце замирает от благоговения... или от другого чувства. Мой отец сам едва разумел грамоте, но воспитание нам дал хорошее. Знаете ли, что я по-латыни понимаю?

— Вы? по-латыни?

— Да — я. Меня monsieur Gaston выучил. Я с ним «Энеиду» прочла. Скучная вещь, но есть места хорошие. Помните, когда Дидона с Энеем в лесу...

— Да, да, помню, — торопливо промолвил Санин. Сам он давным-давно всю свою латынь забыл и об «Энеиде» понятие имел слабое.

Марья Николаевна глянула на него, по своей привычке, несколько вбок и из-по́д низу.

— Вы не думайте, однако, что я очень учена. Ах, боже мой, нет — я не учена, и никаких талантов у меня нет. Писать едва умею... право; читать громко не могу; ни на фортепьяно, ни рисовать, ни шить — ничего! Вот я какая — вся тут!

Она расставила руки.

— Я вам всё это рассказываю, — продолжала она, — во-первых, для того, чтобы не слушать этих дураков (она указала на сцену, где в это мгновение вместо актера подвывала актриса, тоже выставив локти вперед), а во-вторых, для того, что я перед вами в долгу: вы вчера мне про себя рассказывали.

— Вам угодно было спросить меня, — заметил Санин.

Марья Николаевна внезапно повернулась к нему.

— А вам не угодно знать, что собственно я за женщина? Впрочем, я не удивляюсь, — прибавила она, снова прислонясь к подушкам дивана. — Человек собирается жениться, да еще по любви, да после дуэли... Где ему помышлять о чем-нибудь другом?

Марья Николаевна задумалась и начала кусать ручку веера своими крупными, но ровными и, как молоко, белыми зубами.

А Санину казалось, что ему в голову опять стал подниматься тот чад, от которого он не мог отделаться вот уже второй день.

Разговор между им и Марьей Николаевной происходил вполголоса, почти шёпотом — и это еще более его раздражало и волновало его...

Когда же это всё кончится?

Слабые люди никогда сами не кончают — всё ждут конца.

На сцене кто-то чихал; чиханье это было введено автором в свою пьесу, как «комический момент» или «элемент»; другого комического элемента в ней уже, конечно, не было; и зрители удовлетворялись этим моментом, смеялись. Этот смех также раздражал Санина.

Были минуты, когда он решительно не знал: что он — злится или радуется, скучает или веселится? О, если б Джемма его видела!

— Право, это странно, — заговорила вдруг Марья Николаевна. — Человек объявляет вам, и таким спокойным голосом: «Я, мол, на-

мерен жениться»; а никто вам не скажет спокойно: «Я намерен в воду броситься». И между тем — какая разница? Странно, право.

Досада взяла Санина.

— Разница большая, Марья Николаевна! Иному броситься в воду вовсе не страшно: он плавать умеет; а сверх того... что касается до странности браков... уж коли на то пошло...

Он вдруг умолк и прикусил язык.

Марья Николаевна ударила себя веером по ладони.

— Договаривайте, Дмитрий Павлович, договаривайте — я знаю, что вы хотели сказать. «Уж коли на то пошло, милостивая государыня, Марья Николаевна Полозова, — хотели вы сказать, — страннее *вашего* брака ничего нельзя себе представить... ведь я вашего супруга знаю хорошо, с детства!» Вот что вы хотели сказать, вы, умеющий плавать!

— Позвольте, — начал было Санин...

— Разве это не правда? Разве не правда? — настойчиво произнесла Марья Николаевна. — Ну, посмотрите мне в лицо и скажите, что я неправду сказала!

Санин не знал, куда деть свои глаза.

— Ну, извольте: правда, коли вы уж этого непременно требуете, — проговорил он наконец.

Марья Николаевна покачала головою.

— Так... так. — Ну — и спрашивали вы себя, вы, умеющий плавать, какая может быть причина такого странного... поступка со стороны женщины, которая не бедна... и не глупа... и не дурна? Вас это не интересует, может быть; но всё равно. Я вам скажу причину не теперь, а вот как только кончится антракт. Я всё беспокоюсь, как бы кто-нибудь не зашел...

Не успела Марья Николаевна выговорить это последнее слово, как наружная дверь действительно растворилась наполовину — и в ложу всунулась голова красная, маслянисто-потная, еще молодая, но уже беззубая, с плоскими длинными волосами, отвислым носом, огромными ушами, как у летучей мыши, с золотыми очками на любопытных и тупых глазенках, и с pince-nez на очках. Голова осмотрелась, увидала Марью Николаевну, дрянно осклабилась, закивала... Жилистая шея вытянулась вслед за нею...

Марья Николаевна замахала на нее платком.

— Меня дома нет! Ich bin nicht zu Hause, Herr P...! Ich bin nicht zu Hause... Кшшш, кшшш!

Голова изумилась, принужденно засмеялась, проговорила, словно всхлипывая, в подражание Листу, у ног которого когда-то пре-

смыкалась: Sehr gut! sehr gut![46] — и исчезла.

— Это что за субъект? — спросил Санин.

— Это? Критик висбаденский. «Литтерат» или лон-лакей[47], как угодно. Он нанят здешним откупщиком и потому обязан всё хвалить и всем восторгаться, а сам весь налит гаденькой желчью, которую даже выпускать не смеет. Я боюсь: он сплетник ужасный; сейчас побежит рассказывать, что я в театре. Ну, всё равно.

Оркестр проиграл вальс, занавес взвился опять... Поднялось опять на сцене кривлянье да хныканье.

— Ну-с, — начала Марья Николаевна, снова опускаясь на диван, — так как вы попались и должны сидеть со мною, вместо того чтобы наслаждаться близостью вашей невесты... не вращайте глазами и не гневайтесь — я вас понимаю и уже обещала вам, что отпущу вас на все четыре стороны, — а теперь слушайте мою исповедь. Хотите знать, что я больше всего люблю?

— Свободу, — подсказал Санин.

Марья Николаевна положила руку на его руку.

— Да, Дмитрий Павлович, — промолвила она, и голос ее прозвучал чем-то особенным, какой-то несомненной искренностью и важностью, — свободу, больше всего и прежде всего. И не думайте, чтоб я этим хвасталась — в этом нет ничего похвального, — только оно *так,* и всегда было и будет *так* для меня, до самой смерти моей. Я в детстве, должно быть, уж очень много насмотрелась рабства и натерпелась от него. Ну, и monsieur Gaston, мой учитель, глаза мне открыл. Теперь вы, может быть, понимаете, почему я вышла за Ипполита Сидорыча; с ним я свободна, совершенно свободна, как воздух, как ветер... И это я знала перед свадьбой, я знала, что с ним я буду вольный казак!

Марья Николаевна помолчала и бросила веер в сторону.

— Скажу вам еще одно: я не прочь размышлять... оно весело, да и на то ум нам дан; но о последствиях того, что я сама делаю, я никогда не размышляю, и когда придется, не жалею себя — ни на *эстолько:* не стоит. У меня есть поговорка: «Cela ne tire pas à conséquence»[48] — не знаю, как это сказать по-русски. Да и точно: что tire à conséquence? Ведь от меня отчета не потребуют *здесь,* на сей земле; а там (она подняла палец кверху) — ну, там пусть распоряжаются, как знают. Когда меня будут *там* судить, *то* я не

[46] Очень хорошо! очень хорошо! (нем.)

[47] наемный лакей (нем.: Lohn-Lakai).

[48] Это не влечет за собою никаких последствий! (франц.).

я буду! Вы слушаете меня? Вам не скучно?

Санин сидел наклонившись. Он поднял голову.

— Мне вовсе не скучно, Марья Николаевна, и слушаю я вас с любопытством. Только я... признаюсь... я спрашиваю себя, зачем вы это всё говорите мне?

Марья Николаевна слегка подвинулась на диване.

— Вы себя спрашиваете... Вы такой недогадливый? Или такой скромный?

Санин поднял голову еще выше.

— Я вам всё это говорю, — продолжала Марья Николаевна спокойным тоном, который, однако, не совсем соответствовал выражению ее лица, — потому что вы мне очень нравитесь; да, не удивляйтесь, я не шучу; потому, что после встречи с вами мне было бы неприятно думать, что вы сохраните обо мне воспоминание нехорошее... или даже не нехорошее, это мне всё равно, а неверное. Оттого-то я и залучила вас сюда, и остаюсь с вами наедине, и говорю с вами так откровенно... Да, да, откровенно. Я не лгу. И заметьте, Дмитрий Павлович, я знаю, что вы влюблены в другую, что вы собираетесь жениться на ней... Отдайте же справедливость моему бескорыстию! А впрочем, вот вам случай сказать в свою очередь: «Cela ne tire pas à conséquence!»

Она засмеялась, но смех ее внезапно оборвался — и она осталась неподвижной, как будто ее собственные слова ее самое поразили, а в глазах ее, в обычное время столь веселых и смелых, мелькнуло что-то похожее на робость, похожее даже на грусть.

«Змея! ах, она змея! — думал между тем Санин, — но какая красивая змея!»

— Дайте мне мою лорнетку, — проговорила вдруг Марья Николаевна. — Мне хочется посмотреть: неужели эта jeune première в самом деле так дурна собою? Право, можно подумать, что ее определило правительство с нравственной целью, чтобы молодые люди не слишком увлекались.

Санин подал ей лорнетку, а она, принимая ее от него, быстро, но чуть слышно, охватила обеими руками его руку.

— Не извольте серьезничать, — шепнула она с улыбкой. — Знаете что: на меня цепей наложить нельзя, но ведь и я не накладываю цепей. Я люблю свободу и не признаю обязанностей — не для себя одной. А теперь посторонитесь немножко и давайте послушаемте пьесу.

Марья Николаевна навела лорнетку на сцену — и Санин принялся глядеть туда же, сидя с нею рядом, в полутьме ложи, и вды-

хая, невольно вдыхая теплоту и благовоние ее роскошного тела и столь же невольно переворачивая в голове своей всё, что она ему сказала в течение вечера — особенно в течение последних минут.

XI

Пьеса длилась еще час с лишком, но Марья Николаевна и Санин скоро перестали смотреть на сцену. У них снова завязался разговор, и пробирался он, разговор этот, по той же дорожке, как и прежде; только на этот раз Санин меньше молчал. Внутренно он и на себя сердился и на Марью Николаевну; он старался доказать ей всю неосновательность ее «теории», как будто ее занимали теории! Он стал с ней спорить, чему она втайне очень порадовалась: коли спорит, значит уступает или уступит. На прикормку пошел, подается, дичиться перестал! Она возражала, смеялась, соглашалась, задумывалась, нападала... а между тем его лицо и ее лицо сближались, его глаза уже не отворачивались от ее глаз... Эти глаза словно блуждали, словно кружили по его чертам, и он улыбался ей в ответ — учтиво, но улыбался. Ей на руку было уже и то, что он пускался в отвлеченности, рассуждал о честности взаимных отношений, о долге, о святости любви и брака... Известное дело: эти отвлеченности очень и очень годятся как начало... как исходная точка... Люди, хорошо знавшие Марью Николаевну, уверяли, что когда во всем ее сильном и крепком существе внезапно проступало нечто нежное и скромное, что-то почти девически стыдливое — хотя, подумаешь, откуда оно бралось?.. — тогда... да, тогда дело принимало оборот опасный.

Оно, по-видимому, принимало этот оборот и для Санина... Презрение он бы почувствовал к себе, если б ему удалось хотя на миг сосредоточиться; но он не успевал ни сосредоточиться, ни презирать себя.

А она не теряла времени. И всё это происходило оттого, что он был очень недурен собою! Поневоле придется сказать: «Как знать, где найдешь, где потеряешь?»

Пьеса кончилась. Марья Николаевна попросила Санина накинуть на нее шаль и не шевелилась, пока он окутывал мягкой тканью ее поистине царственные плечи. Потом она взяла его под руку, вышла в коридор — и чуть не вскрикнула: у самой двери ложи, как некое привидение, торчал Дёнгоф; а из-за его спины выглядывала паскудная фигура висбаденского критика. Маслянистое лицо «литтерата» так и сияло злорадством.

— Не прикажете ли, сударыня, я вам отыщу вашу карету? — обратился к Марье Николаевне молодой офицер с трепетом худо сдержанного бешенства в голосе.

— Нет, благодарствуйте, — ответила она, — мой лакей ее найдет. — Останьтесь! — прибавила она повелительным шёпотом — и быстро удалилась, увлекая за собою Санина.

— Ступайте к чёрту! Что вы ко мне пристали? — гаркнул вдруг Дёнгоф на литтерата. Надо было ему на ком-нибудь сорвать свое сердце!

— Sehr gut! sehr gut! — пробормотал литтерат и стушевался.

Лакей Марьи Николаевны, ожидавший ее в сенях, в мгновение ока отыскал ее карету — она проворно села в нее, за нею вскочил Санин. Дверцы захлопнулись — и Марья Николаевна разразилась смехом.

— Чему вы смеетесь? — полюбопытствовал Санин.

— Ах, извините меня, пожалуйста... но мне пришло в голову, что если Дёнгоф с вами опять будет стреляться... из-за меня... Не чудеса ли это?

— А вы с ним очень коротко знакомы? — спросил Санин.

— С ним? С этим мальчиком? Он у меня на побегушках. Вы не беспокойтесь!

— Да я и не беспокоюсь вовсе.

Марья Николаевна вздохнула.

— Ах, я знаю, что вы не беспокоитесь. Но слушайте — знаете что: вы такой милый, вы не должны отказать мне в одной последней просьбе. Не забудьте: через три дня я уезжаю в Париж, а вы возвращаетесь во Франкфурт... Когда мы встретимся?

— Какая это просьба?

— Вы верхом, конечно, умеете ездить?

— Умею.

— Ну вот что. Завтра поутру я вас возьму с собою — и мы поедем вместе за город. У нас будут отличные лошади. Потом мы вернемся, дело покончим — и аминь! Не удивляйтесь, не говорите мне, что это каприз, что я сумасшедшая — всё это может быть, —

но скажите только: я согласен!

Марья Николаевна обернула к нему свое лицо. В карете было темно, но глаза ее сверкнули в самой этой темноте.

— Извольте, я согласен, — промолвил Санин со вздохом.

— Ах! Вы вздохнули! — передразнила его Марья Николаевна. — Вот что значит: взялся за гуж — не говори, что не дюж. Но нет, нет... Вы — прелесть, вы хороший — а обещание я свое сдержу. Вот вам моя рука, без перчатки, правая, деловая. Возьмите ее и верьте ее пожатию. Что я за женщина, я не знаю; но человек я честный — и дела иметь со мною можно.

Санин, сам хорошенько не отдавая себе отчета в том, что делает, поднес эту руку к своим губам. Марья Николаевна тихонько ее приняла и вдруг умолкла — и молчала, пока карета не остановилась.

Она стала выходить... Что это? показалось ли Санину, или он точно почувствовал на щеке своей какое-то быстрое и жгучее прикосновение?

«До завтра!» — шепнула Марья Николаевна ему на лестнице, вся освещенная четырьмя свечами канделябра, ухваченного при ее появлении золотообрезным привратником. Она держала глаза опущенными. — «До завтра!»

Вернувшись к себе в комнату, Санин нашел на столе письмо от Джеммы. Он мгновенно... испугался — и тотчас же обрадовался, чтобы поскорей замаскировать перед самим собою свой испуг. Оно состояло из нескольких строк. Она радовалась благополучному «началу дела», советовала ему быть терпеливым и прибавляла, что все в доме здоровы и заранее радуются его возвращению. Санин нашел это письмо довольно сухим — однако взял перо, бумагу... и всё бросил. «Что писать!? Завтра сам вернусь... пора, пора!»

Он немедленно лег в постель и постарался как можно скорее заснуть. Оставшись на ногах и бодрствуя, он наверное стал бы думать о Джемме — а ему было почему-то... стыдно думать о ней. Совесть шевелилась в нем. Но он успокоивал себя тем, что завтра всё будет навсегда кончено и он навсегда расстанется с этой взбалмошной барыней — и забудет всю эту чепуху!..

Слабые люди, говоря с самими собою, охотно употребляют энергические выражения.

Et puis... cela ne tire pas à conséquence!

XLI

Вот что думал Санин, ложась спать; но что он подумал на следующий день, когда Марья Николаевна нетерпеливо постучала коралловой ручкой хлыстика в его дверь, когда он увидел ее на пороге своей комнаты — с шлейфом темно-синей амазонки на руке, с маленькой мужской шляпой на крупно заплетенных кудрях, с откинутым на плечо вуалем, с вызывающей улыбкой на губах, в глазах, на всем лице, — что он подумал тогда — об этом молчит история.

— Ну? готовы? — прозвучал веселый голос.

Санин застегнул сюртук и молча взял шляпу. Марья Николаевна бросила на него светлый взгляд, кивнула головою и быстро побежала вниз по лестнице. И он побежал вслед за нею.

Лошади стояли уже на улице перед крыльцом. Их было три: золотисто-рыжая чистокровная кобыла с сухой, оскалистой мордой, черными глазами навыкате, с оленьими ногами, немного поджарая, но красивая и горячая как огонь — для Марьи Николаевны; могучий, широкий, несколько тяжелый конь, вороной, без отмет — для Санина; третья лошадь назначалась груму. Марья Николаевна ловко вскочила на свою кобылу... Та затопала ногами и завертелась, отделяя хвост и поджимая круп, но Марья Николаевна (отличная наездница!) удержала ее на месте: нужно было проститься с Полозовым, который, в неизменной своей феске и в шлафроке нараспашку, появился на балконе и махал оттуда батистовым платочком, нисколько, впрочем, не улыбаясь, а скорее хмурясь. Взобрался и Санин на своего коня; Марья Николаевна отсалютовала г-ну Полозову хлыстиком, потом ударила им свою лошадь по выгнутой и плоской шее: та взвилась на дыбы, прыгнула вперед и пошла щепотким, укрощенным шагом, вздрагивая всеми жилками, собираясь на мундштуке, кусая воздух и поры-

висто фыркая. Санин ехал сзади и глядел на Марью Николаевну; самоуверенно, ловко и стройно покачивался ее тонкий и гибкий стан, тесно и вольно охваченный корсетом. Она обернула голову назад и подозвала его одними глазами. Он поравнялся с нею.

— Ну, вот видите, как хорошо, — сказала она. — Я вам говорю напоследях, перед разлукой: вы прелесть — и раскаиваться не будете.

Выговорив эти последние слова, она несколько раз повела головою сверху вниз, как бы желая подтвердить их и дать ему почувствовать их значение.

Она казалась до того счастливой, что Санин просто удивлялся; у нее на лице появилось даже то степенное выражение, какое бывает у детей, когда они очень... очень довольны.

Шагом доехали они до недалекой заставы, а там пустились крупной рысью по шоссе. Погода была славная, прямо летняя; ветер струился им навстречу и приятно шумел и свистал в их ушах. Им было хорошо: сознание молодой, здоровой жизни, свободного, стремительного движения вперед охватывало их обоих; оно росло с каждым мигом.

Марья Николаевна осадила свою лошадь и опять поехала шагом; Санин последовал ее примеру.

— Вот, — начала она с глубоким, блаженным вздохом, — вот для этого только и стоит жить. Удалось тебе сделать, чего тебе хотелось, что казалось невозможным, — ну и пользуйся, душа, по самый край! — Она провела рукой себе по горлу поперек. — И каким добрым человек тогда себя чувствует! Вот теперь я... какая добрая! Кажется, весь свет бы обняла. То есть нет, не весь свет!.. Вот этого я бы не обняла. — Она указала хлыстиком на пробиравшегося сторонкой нищенски одетого старика. — Но осчастливить его я готова. Нате, возьмите, — крикнула она громко по-немецки и бросила к его ногам кошелек. Увесистый мешочек (тогда еще портмоне в помину не было) стукнул о́ дорогу. Прохожий изумился, остановился, а Марья Николаевна захохотала и пустила лошадь вскачь.

— Вам так весело верхом ездить? — спросил Санин, догнав ее.

Марья Николаевна опять разом осадила свою лошадь: она иначе ее не останавливала.

— Я хотела только уехать от благодарности. Кто меня благодарит — удовольствие мое портит. Ведь я не для него это сделала, а для себя. Как же он смеет меня благодарить? Я не расслышала, о чем вы меня спрашивали.

— Я спрашивал... я хотел знать, отчего вы сегодня так веселы?

— Знаете что, — промолвила Марья Николаевна: она либо опять не расслышала Санина, либо не почла за нужное отвечать на его вопрос. — Мне ужасно надоел этот грум, который торчит за нами и который, должно быть, только и думает о том, когда, мол, господа домой поедут? Как бы от него отделаться? — Она проворно достала из кармана записную книжечку. — Послать его с письмом в город? Нет... не годится. А! вот как! Это что такое впереди? Трактир?

Санин глянул, куда она указывала.

— Да, кажется, трактир.

— Ну и прекрасно. Я прикажу ему остаться в этом трактире — и пить пиво, пока мы вернемся.

— Да что он подумает?

— А нам что за дело! Да он и думать не будет; будет пить пиво — и только. Ну, Санин (она в первый раз назвала его по одной фамилии), — вперед, рысью!

Поравнявшись с трактиром, Марья Николаевна подозвала грума и сообщила ему, что она от него требовала. Грум, человек английского происхождения и английского темперамента, молча поднес руку к козырьку своей фуражки, соскочил с лошади и взял ее под уздцы.

— Ну, теперь мы — вольные птицы! — воскликнула Марья Николаевна. — Куда нам ехать — на север, на юг, на восток, на запад? Смотрите — я как венгерский король на коронации (она указала концом хлыста на все четыре стороны света). Всё наше! Нет, знаете что: видите, какие там славные горы — и какой лес! Поедемте туда, в горы, в горы!

In die Berge, wo die Freiheit thront![49]

Она свернула с шоссе и поскакала по узкой, неторной дорожке, которая действительно как будто направлялась к горам. Санин поскакал за нею.

[49] В горы, где царит свобода! (нем.).

XLII

Дорожка эта скоро превратилась в тропинку и наконец совсем исчезла, пересеченная канавой. Санин посоветовал вернуться, но Марья Николаевна сказала: «Нет! я хочу в горы! Поедем прямо, как летают птицы» — и заставила свою лошадь перескочить канаву. Санин тоже перескочил. За канавой начинался луг, сперва сухой, потом влажный, потом уже совсем болотистый: вода просачивалась везде, стояла лужицами. Марья Николаевна пускала лошадь нарочно по этим лужицам, хохотала и твердила: «Давайте школьничать!»

— Вы знаете, — спросила она Санина, — что значит: охотиться по брызга́м?

— Знаю, — отвечал Санин.

— У меня дядя был псовый охотник, — продолжала она. — Я с ним езживала — весною. Чудо! Вот и мы теперь с вами — по брызга́м. А только я вижу: вы русский человек, а хотите жениться на итальянке. Ну да это — ваша печаль. Это что? Опять канава? Гоп!

Лошадь перескочила — но шляпа упала с головы Марьи Николаевны, и кудри ее рассыпались по плечам. Санин хотел было слезть с коня и поднять шляпу, но она крикнула ему: «Не трогайте, я сама достану», нагнулась низко с седла, зацепила ручкой хлыста за вуаль и точно: достала шляпу, надела ее на голову, но волос не подобрала и опять помчалась, даже гикнула. Санин мчался с нею рядом, рядом с нею и перепрыгивал рвы, ограды, ручейки, проваливался и выкарабкивался, несся под гору, несся в гору и всё глядел ей в лицо. Что за лицо! Всё оно словно раскрыто: раскрыты глаза, алчные, светлые, дикие; губы, ноздри раскрыты тоже и дышат жадно; глядит она прямо, в упор перед собою, и, кажется,

всем, что она видит, землею, небом, солнцем и самым воздухом хочет завладеть эта душа, и об одном только она и жалеет: опасностей мало — все бы их одолела! «Санин! — кричит она, — ведь это как в Бюргеровой „Леноре“! Только вы не мертвый — а? Не мертвый?.. Я живая!» Разыгрались удалые силы. Это уж не амазонка пускает коня в галоп — это скачет молодой женский кентавр, полузверь и полубог, и изумляется степенный и благовоспитанный край, попираемый ее буйным разгулом!

Марья Николаевна остановила наконец свою вспененную забрызганную лошадь: она шаталась под нею, а у могучего, но тяжкого санинского жеребца прерывалось дыхание.

— Что? любо? — спросила Марья Николаевна каким-то чудным шёпотом.

— Любо! — восторженно отозвался Санин. И в нем кровь разгорелась.

— Постойте, то ли еще будет! — Она протянула руку. Перчатка на ней была разорвана.

— Я сказала, что приведу вас к лесу, к горам... Вот они, горы! — Точно: покрытые высоким лесом, зачинались горы шагах в двухстах от того места, куда вылетели лихие всадники. — Смотрите: вот и дорога. Оправимтесь — и вперед. Только шагом. Надо дать лошадям вздохнуть.

Они поехали. Одним сильным взмахом руки Марья Николаевна отбросила назад свои волосы. Посмотрела потом на свои перчатки — и сняла их.

— Руки будут кожей пахнуть, — сказала она, — да ведь это вам ничего? А?..

Марья Николаевна улыбалась, и Санин улыбался тоже. Эта бешеная скачка их как будто окончательно сблизила и подружила.

— Сколько вам лет? — спросила она вдруг.

— Двадцать два.

— Не может быть! Мне двадцать два тоже. Годы хорошие. Сложи их вместе, и то до старости далеко. Однако жарко. Что, я раскраснелась?

— Как маков цвет!

Марья Николаевна утерла лицо платком.

— Только бы до лесу добраться, а там будет прохладно. Этакой старый лес — точно старый друг. Есть у вас друзья?

Санин подумал немного.

— Есть... только мало. Настоящих нет.

— А у меня есть, настоящие — только не старые. Вот тоже

друг — лошадь. Как она тебя бережно несет! Ах, да здесь отлично! Неужто я послезавтра в Париж еду?

— Да... неужто? — подхватил Санин.

— А вы во Франкфурт?

— Я непременно во Франкфурт.

— Ну, что ж — с богом! Зато сегодняшний день наш... наш... наш!

Лошади добрались до опушки и вошли в нее. Тень леса накрыла их широко и мягко, и со всех сторон.

— О, да тут рай! — воскликнула Марья Николаевна. — Глубже, дальше в эту тень, Санин!

Лошади тихо двигались «глубже в тень», слегка покачиваясь и похрапывая. Дорожка, по которой они выступали, внезапно повернула в сторону и вдалась в довольно тесное ущелье. Запах вереска, папоротника, смолы сосновой, промозглой, прошлогодней листвы так и сперся в нем — густо и дремотно. Из расселин бурых крупных камней било крепкой свежестью. По обеим сторонам дорожки высились круглые бугры, поросшие зеленым мохом.

— Стойте! — воскликнула Марья Николаевна. — Я хочу присесть и отдохнуть на этом бархате. Помогите мне сойти.

Санин соскочил с коня и подбежал к ней. Она оперлась об его плечи, мгновенно спрыгнула на землю и села на одном из моховых бугров. Он стал перед нею, держа в руках поводья обеих лошадей.

Она подняла на него глаза...

— Санин, вы умеете забывать?

Санину вспомнилось вчерашнее... в карете.

— Что это — вопрос... или упрек?

— Я отроду никого и ни в чем не упрекала. А в присуху вы верите?

— Как?

— В присуху — знаете, о чем у нас в песнях поется. В простонародных русских песнях?

— А! Вы вот о чем говорите... — протянул Санин.

— Да, об этом. Я верю... и вы поверите.

— Присуха... колдовство... — повторил Санин. — Всё на свете возможно. Прежде я не верил, а теперь верю. Я себя не узнаю.

Марья Николаевна подумала — и оглянулась.

— А мне сдается, место это мне как будто знакомое. Посмотрите-ка, Санин, за тем широким дубом — стоит дере-

вянный красный крест? аль нет?

Санин сделал несколько шагов в сторону.

— Стоит.

Марья Николаевна ухмыльнулась.

— А, хорошо! Я знаю, где мы. Пока еще не потерялись. Это что стучит? Дровосек?

Санин поглядел в чащу.

— Да... там какой-то человек сухие сучья рубит.

— Надо волосы в порядок привести, — проговорила Марья Николаевна. — А то увидит — осудит. — Она сняла шляпу и начала заплетать свои длинные косы — молча и важно. Санин стоял перед нею... Ее стройные члены явственно рисовались под темными складками сукна, с кое-где приставшими волокнами моха.

Одна из лошадей внезапно встряхнулась за спиною Санина; он сам затрепетал невольно, с ног до головы. Всё в нем было перепутано — нервы натянулись как струны. Недаром он сказал, что сам себя не узнает... Он действительно был околдован. Всё существо его было полно одним... одним помыслом, одним желаньем. Марья Николаевна бросила на него проницательный взгляд.

— Ну, вот теперь всё как следует, — промолвила она, надевая шляпу. — Вы не садитесь? Вот тут! Нет, погодите... не садитесь. Что это такое?

По верхушкам деревьев, по воздуху лесному, прокатилось глухое сотрясение.

— Неужели это гром?

— Кажется, точно гром, — ответил Санин.

— Ах, да это праздник! просто праздник! Только этого недоставало! — Глухой гул раздался вторично, поднялся — и упал раскатом. — Браво! Bis! Помните, я вам говорила вчера об «Энеиде»? Ведь *их* тоже в лесу застала гроза. Однако надо убраться. — Она быстро поднялась на ноги. — Подведите мне лошадь... Подставьте мне руку. Вот так. Я не тяжела.

Она птицей взвилась на седло. Санин тоже сел на коня.

— Вы — домой? — спросил он неверным голосом.

— Домой?? — отвечала она с расстановкой и подобрала поводья. — Ступайте за мной, — приказала она почти грубо.

Она выехала на дорогу и, минуя красный крест, опустилась в лощину, добралась до перекрестка, повернула направо, опять в гору... Она, очевидно, знала, куда держала путь — и шел этот путь всё в глубь да в глубь леса. Она ничего не говорила, не оглядывалась; она повелительно двигалась вперед — и он послушно

и покорно следовал за нею, без искры воли в замиравшем сердце. Дождик начал накрапывать. Она ускорила ход своей лошади — и он не отставал от нее. Наконец, сквозь темную зелень еловых кустов, из-под навеса серой скалы, глянула на него убогая караулка, с низкой дверью в плетеной стене... Марья Николаевна заставила лошадь продраться сквозь кусты, спрыгнула с нее — и, очутившись вдруг у входа караулки, обернулась к Санину и шепнула: Эней?

Четыре часа спустя Марья Николаевна и Санин, в сопровождении дремавшего на седле грума, возвратились в Висбаден, в гостиницу. Г-н Полозов встретил свою супругу, держа в руках письмо к управляющему. Вглядевшись в нее попристальнее, он, однако, выразил на лице своем некоторое неудовольствие — и даже пробормотал:

— Неужто проиграл пари?

Марья Николаевна только плечами пожала.

А в тот же день, два часа спустя, Санин в своей комнате стоял перед нею, как потерянный, как погибший...

— Куда же ты едешь? — спрашивала она его. — В Париж — или во Франкфурт?

— Я еду туда, где будешь ты, — и буду с тобой, пока ты меня не прогонишь, — отвечал он с отчаянием и припал к рукам своей властительницы. Она высвободила их, положила их ему на голову и всеми десятью пальцами схватила его волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безответные волосы, сама вся выпрямилась, на губах змеилось торжество — а глаза, широкие и светлые до белизны, выражали одну безжалостную тупость и сытость победы. У ястреба, который когтит пойманную птицу, такие бывают глаза.

XIiii

Вот что припомнил Дмитрий Санин, когда в тишине кабинета, разбирая свои старые бумаги, он нашел между ними гранатовый крестик. Рассказанные нами события ясно и последовательно возникали перед его мысленным взором... Но, дойдя до той минуты, когда он с таким унизительным молением обратился к г-же Полозовой, когда он отдался ей под ноги, когда началось его рабство, — он отвернулся от вызванных им образов, он не захотел более вспоминать. И не то, чтобы память изменила ему — о нет! он знал, он слишком хорошо знал, что последовало за той минутой, но стыд душил его — даже и теперь, столько лет спустя; он страшился того чувства неодолимого презрения к самому себе, которое, он в этом не мог сомневаться, непременно нахлынет на него и затопит, как волною, все другие ощущения, как только он не велит памяти своей замолчать. Но как он ни отворачивался от возникавших воспоминаний, вполне заглушить он их не мог. Он вспомнил дрянное, слезливое, лживое, жалкое письмо, посланное им Джемме, письмо, оставшееся без ответа... Явиться к ней, вернуться к ней — после такого обмана, такой измены — нет! нет! на столько совести и честности осталось еще в нем. К тому же он всякое доверие потерял к себе, всякое уважение: он уже ни за что не смел ручаться. Санин вспомнил также, как он потом — о, позор! — отправил полозовского лакея за своими вещами во Франкфурт, как он трусил, как он думал лишь об одном: поскорей уехать в Париж, в Париж; как он, по приказанию Марьи Николаевны, подлаживался и подделывался к Ипполиту Сидорычу — и любезничал с Дёнгофом, на пальце которого он заметил точно такое же железное кольцо, какое дала ему Марья Николаевна!!! Потом пошли воспоминания еще хуже, еще позорнее... Кельнер подает ему визитную карточку — и сто-

ит на ней имя Панталеоне Чиппатола, придворного певца е. к. в. герцога Моденского! Он прячется от старика, но не может избегнуть встречи с ним в коридоре — и встает перед ним раздраженное лицо под взвившимся кверху седым хохлом; горят, как уголья, старческие глаза — и слышатся грозные восклицания и проклятия: Maledizione![50], слышатся даже страшные слова: Codardo! Infame traditore![51] Санин жмурит глаза, встряхивает головою, отворачивается вновь и вновь — и все-таки видит себя сидящим в дорожном дормезе на узком переднем месте... На задних, покойных местах сидят Марья Николаевна и Ипполит Сидорыч — четверня лошадей несется дружной рысью по мостовой Висбадена — в Париж! в Париж! Ипполит Сидорыч кушает грушу, которую он, Санин, ему очистил, а Марья Николаевна глядит на него и усмехается тою, ему, закрепощенному человеку, уже знакомой усмешкой — усмешкой собственника, владыки...

Но боже мой! Вон там, на углу улицы, недалеко от выезда из города, не Панталеоне ли стоит опять — и кто с ним? Неужели Эмилио? Да, это он, тот восторженный, преданный мальчик! Давно ли его юное сердце благоговело перед своим героем, идеалом, а теперь его бледное красивое — до того красивое лицо, что Марья Николаевна его заметила и высунулась в окошко кареты — это благородное лицо пышет злобой и презрением; глаза, столь похожие на *ее* глаза! — впиваются в Санина, и губы сжимаются... и раскрываются вдруг для обиды...

А Панталеоне протягивает руку и указывает на Санина — кому? — стоящему возле Тарталье, и Тарталья лает на Санина — и самый лай честного пса звучит невыносимым оскорблением... Безобразно!

А там — житье в Париже и все унижения, все гадкие муки раба, которому не позволяется ни ревновать, ни жаловаться и которого бросают наконец, как изношенную одежду...

Потом — возвращение на родину, отравленная, опустошенная жизнь, мелкая возня, мелкие хлопоты, раскаяние горькое и бесплодное и столь же бесплодное и горькое забвение — наказание не явное, но ежеминутное и постоянное, как незначительная, но неизлечимая боль, уплата по копейке долга, которого и сосчитать нельзя...

Чаша переполнилась — довольно!

---

[50]Проклятье! (итал.).

[51]Трус! Гнусный изменник! (итал.).

Каким образом уцелел крестик, данный Санину Джеммой, почему не возвратил он его, как случилось, что до того дня он ни разу на него не натыкался? Долго, долго сидел он в раздумье и — уже наученный опытом, через столько лет — всё не в силах был понять, как мог он покинуть Джемму, столь нежно и страстно им любимую, для женщины, которую он и не любил вовсе?.. На следующий день он удивил всех своих приятелей и знакомых: он объявил им, что уезжает за границу.

Недоумение распространилось в обществе. Санин покидал Петербург, среди белой зимы, только что нанявши и обмеблировавши отличную квартиру, даже абонировавшись на представления итальянской оперы, в которой участвовала сама г-жа Патти — сама, сама, сама г-жа Патти! Приятели и знакомые недоумевали; но людям вообще не свойственно долго заниматься чужими делами, и когда Санин отправился за границу — его на станцию железной дороги приехал провожать один француз портной, и то в надежде получить недоплаченный счетец — «pour un saute-en-barque en velours noir, tout à fait chic»[52].

[52] «за матросскую куртку из черного бархата, самую модную» (франц.).

Xliv

Санин сказал своим друзьям, что уезжает за границу, но не сказал, куда именно; читатели легко догадаются, что он покатил прямо во Франкфурт. Благодаря повсеместно распространенным железным дорогам он на четвертый день после выезда из Петербурга был уже там. Он не посещал его с самого 1840 года. Гостиница «Белого лебедя» стояла на прежнем месте и процветала, хотя уже не считалась первоклассной; Цейль, главная улица Франкфурта, мало изменилась, но не только от дома г-жи Розелли — от самой улицы, где находилась ее кондитерская, — не осталось ни следа. Санин бродил как ошалелый по местам, когда-то столь знакомым, и ничего не узнавал: прежние постройки исчезли; их заменили новые улицы, уставленные громадными сплошными домами, изящными виллами; даже публичный сад, где происходило его последнее объяснение с Джеммой, разросся и переменился до того, что Санин себя спрашивал — полно, тот ли это сад? Что было ему делать? Как и где наводить справки? Тридцать лет прошло с тех пор... Легкое ли дело! К кому он ни обращался — никто даже имени Розелли не слыхивал; хозяин гостиницы советовал ему справиться в публичной библиотеке: там он, дескать, найдет все старые газеты, но какую он из этого извлечет пользу — хозяин сам объяснить не умел. Санин, с отчаянья, осведомился о г-не Клюбере. Это имя было хорошо известно хозяину — но и тут вышла неудача. Изящный комми, прогремев и возвысившись до звания капиталиста, проторговался, обанкрутился и умер в тюрьме... Это известие не причинило, впрочем, Санину ни малейшего огорчения. Он начинал уже находить свое путешествие несколько необдуманным... Но вот однажды, перелистывая франкфуртский адрес-календарь, он наткнулся на имя фон Дёнгофа, майора в отставке (Major a. D.). Он немедленно взял

карету и поехал к нему — хотя почему *этот* Дёнгоф должен был непременно быть *тем* Дёнгофом и почему даже *тот* Дёнгоф мог сообщить ему какие-либо сведения о семействе Розелли? Всё равно: утопающий за соломинку хватается.

Санин застал отставного майора фон Дёнгофа дома — и в принявшем его поседелом господине немедленно узнал своего бывшего противника. И тот его узнал, и даже обрадовался его появлению: оно напомнило ему молодость и молодые проказы. Санин услыхал от него, что семейство Розелли давным-давно переселилось в Америку, в Нью-Йорк; что Джемма вышла замуж за негоцианта; что, впрочем, у него, Дёнгофа, есть знакомый, тоже негоциант, которому, вероятно, известен адрес ее мужа, так как у него много дел с Америкой. Санин упросил Дёгофа сходить к этому знакомому, и — о радость! — Дёнгоф принес ему адрес Джеммина мужа, г-на Иеремии Слокома — M-r J. Slocum, New York, Broadway, № 501. — Только адрес этот относился к 1863 году.

— Будем надеяться, — воскликнул Дёнгоф, — что наша бывшая франкфуртская красавица еще жива и не покинула Нью-Йорка! Кстати, — прибавил он, понизив голос, — а что та русская дама, что, помните, гостила тогда в Висбадене — г-жа фон Бо... фон Бозолóф — еще жива?

— Нет, — отвечал Санин, — она давно умерла.

Дёнгоф поднял глаза, но, заметив, что Санин отвернулся и нахмурился, не прибавил ни слова — и удалился.

В тот же день Санин послал письмо к г-же Джемме Слоком в Нью-Йорк. В этом письме он говорил ей, что пишет к ней из Франкфурта, куда приехал единственно для того, чтобы отыскать ее следы; что он очень хорошо сознает, до какой степени он лишен малейшего права на то, чтобы она ему отозвалась; что он ничем не заслужил ее прощения — и надеется только на то, что она, среди счастливой обстановки, в которой находится, давно позабыла о самом его существовании. Он прибавлял, что решился напомнить ей о себе вследствие случайного обстоятельства, которое слишком живо возбудило в нем образы прошедшего; рассказал ей свою жизнь, одинокую, бессемейную, безрадостную; заклинал ее понять причины, побудившие его обратиться к ней, не дать ему унести в могилу горестное сознание своей вины — давно выстраданной, но не прощенной — и порадовать его хотя самой краткой весточкой о том, как ей живется в этом новом мире, куда она удалилась. «Напи-

сав мне хоть одно слово, — так кончал Санин свое письмо, — вы сделаете доброе дело, достойное вашей прекрасной души, — и я буду благодарить вас до последнего моего дыхания. Я остановился здесь, в гостинице *Белого лебедя* (эти слова он подчеркнул) и буду ждать — ждать до весны — вашего ответа».

Он отправил это письмо и принялся ждать. Целых шесть недель прожил он в гостинице, почти не выходя из комнаты и решительно никого не видя. Никто не мог написать к нему ни из России, ни откуда; и это было ему по сердцу; приди на его имя письмо — он уже знает, что оно *то,* которого он ждет. Он читал с утра до вечера — и не журналы, а серьезные книги, исторические сочинения. Эти продолжительные чтения, это безмолвие, это улиткообразное, скрытое житье — всё это пришлось как раз под лад его душевного строя: уж за это за одно спасибо Джемме! Но, жива ли она? Ответит ли она?

Наконец пришло письмо — с американской почтовой маркой — из Нью-Йорка на его имя. Почерк адреса на обертке был английский... Он не узнал его, и сердце в нем сжалось. Не разом решился он надломить пакет. Он глянул на подпись: Джемма! Слезы так и брызнули из его глаз: одно то, что она подписалась своим именем, без фамилии — служило ему залогом примирения, прощения! Он развернул тонкий лист синей почтовой бумаги — фотография выскользнула оттуда. Он поспешно ее поднял — и так и обомлел: Джемма, живая Джемма, молодая, какою он ее знал тридцать лет тому назад! Те же глаза, те же губы, тот же тип всего лица! На оборотной стороне фотографии стояло: «Дочь моя, Марианна». Всё письмо было очень ласково и просто. Джемма благодарила Санина за то, что он не усумнился обратиться к ней, что он имел к ней доверие; не скрывала от него и того, что она точно после его бегства пережила тяжелые мгновенья, но тут же прибавляла, что все-таки считает — и всегда считала — свою встречу с ним за счастье, так как эта встреча помешала ей сделаться женою г-на Клюбера и таким образом, хотя косвенно, но была причиной ее брака с теперешним ее мужем, с которым она живет вот уже двадцать восьмой год совершенно счастливо, в довольстве и изобилии: дом их известен всему Нью-Йорку. Джемма извещала Санина, что у ней пять человек детей — четыре сына и одна восемнадцатилетняя дочь, невеста, фотографию которой она ему посылает, так как она, по общему суждению, весьма похожа на свою мать. Печальные вести Джемма приберегла к концу письма. Фрау Леноре скончалась в Нью-Йорке, куда она последовала за дочерью и зятем, — однако

успела порадоваться счастью своих детей, понянчить внучат; Панталеоне тоже собирался в Америку, но умер перед самым отъездом из Франкфурта. «А Эмилио, наш милый, несравненный Эмилио — погиб славной смертью за свободу родины, в Сицилии, куда он отправился в числе тех „Тысячи“, которыми предводительствовал великий Гарибальди; мы все горячо оплакали кончину нашего бесценного брата, но, и проливая слезы, мы гордились им — и вечно будем им гордиться и свято чтить его память! Его высокая, бескорыстная душа была достойна мученического венца!» Потом Джемма изъявляла свое сожаление о том, что жизнь Санина, по-видимому, так дурно сложилась, желала ему прежде всего успокоения и душевной тишины и говорила, что была бы рада свидеться с ним — хотя и сознает, как мало вероятно подобное свиданье...

Не беремся описывать чувства, испытанные Саниным при чтении этого письма. Подобным чувствам нет удовлетворительного выражения: они глубже и сильнее — и неопределеннее всякого слова. Музыка одна могла бы их передать.

Санин отвечал тотчас — и в подарок невесте послал «Марианне Слоком от неизвестного друга» гранатовый крестик, обделанный в великолепное жемчужное ожерелье. Подарок этот, хотя весьма ценный, не разорил его: в течение тридцати лет, протекших со времени его первого пребывания во Франкфурте, он успел нажить значительное состояние. В первых числах мая он вернулся в Петербург — но едва ли надолго. Слышно, что он продает все свои имения и собирается в Америку.

This offline edition was generated from the canonical TEI text.

bookstacks.org